



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

АЛЬМАНАХ

“ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ”

1999

ЛС

84 (22000-Р40)6
П54 - 1у

X



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
"ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ"

1999

ЛС

Таймырская
скружная
библиотека

170932

Издательство
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва

Таймырская региональная писательская организация.

Литературно-художественный альманах “Полярное сияние-99”.

Альманах издан по заказу Управления культуры
Администрации Таймырского округа.

Издание альманаха ставит своей целью
популяризацию творчества
прозаиков и поэтов,
драматургов и литературных критиков,
проживающих на полуострове Таймыр
или пишущих о нем.

Составитель Нина ЛАНДИНА.
Редактор Юрий ГРАДИНАРОВ.
Корректор Светлана ПЕТРОВА.

*“Во всяком деле лучше немного,
но хорошего, чем много, но плохого.
То же и в книгах”.*

Л. Н. Толстой

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

<i>Алевтина ШЕРБАКОВА</i> Давай возьмем что есть с собою на двоих	5
<i>Валентина ЗАВАРЗИНА</i> Ожидание	6
<i>Анастасия МАКАРОВА</i> Женщина в темном проеме окна... .. Только позволь... ..	7
<i>Алексей СМИРНОВ</i> Мне трудно сказать тебе слово "любовь"	8
<i>Геннадий КУЗНЕЦОВ</i> О любви	9
<i>Дмитрий ВАСИН</i> Сомненья прочь — отныне ты моя!.. ..	10
<i>Геннадий МЕДВЕДЕВ</i> Чуть расслабься... .. Брусничкой, ивами и звездами... ..	11
<i>Нина КОВАЛЬЧУК</i> Береза белая	12
<i>Анатолий ЛЕВЕНКО</i> Исцелю. От губ... .. Один при золотых зубах... ..	13
<i>Надежда МОРДАСОВА</i> Театр	14
<i>Марк ХАСДАН</i> Закованы с тобой в одной судьбе... ..	15
<i>Татьяна ШАЙБУЛАТОВА</i> Сегодня мне не хочется курить... ..	16
<i>Виктор ВОЩЕНКОВ</i> Любимая, ты мой волшебный миг... .. Жизнь моя, до последнего вздоха... ..	17
<i>Александр СЛИЖЕВИЧ</i> Нет, не растаял еще снег... .. "Я вернусь. Обязательно. Ждите!"	18
<i>Елена ГАТИЛОВА</i> Я — женщина	19
<i>Сергей ПОПУГАЕВ</i> Не терпящему лесть и обман... .. Разговор с судьбой	20
<i>Сергей ЛУЗАН</i> Может быть, когда-нибудь устану... .. Нганасанскому художнику Мотюмяку Турдагину в день открытия его норильской выставки	21
<i>Галина ЛЕТЯГИНА</i> Вошла сияющей звездой... ..	22

Расскажи мне... ..	22
<i>Владимир КАНТАРИЯ</i> Было весело мне и больно... .. Приходит женщина ко мне... ..	23
<i>Елена ЯГУМОВА</i> Солнце холодное... ..	24

ПРОЗА

<i>Анатолий САВИНОВ</i> Дописать последнюю строку. Рассказ	25
<i>Виктор САМУЙЛОВ</i> Политотдельский ящик. Рассказ	27
<i>Елизавета БАРСУКОВА</i> Прощальная симфония. Отрывок из повести	30
<i>Владимир ЭЙСНЕР</i> Под знаком дубинки. Сказка	39
<i>Юрий ГРАДИНАРОВ</i> По собственному желанию. Продолжение повести	47
<i>Юрий МИРОНОВ</i> В таймырских даях. Продолжение повести	66
<i>Николай ОДИНЦОВ</i> На перепутьях тернистых дорог. Продолжение повести ..	74

ПОЭЗИЯ ЮНЫХ

<i>Владимир ТКАЧЕНКО</i> Ты был умен... .. Обо всем, что наболело... ..	82
<i>Маргарита БОРОНКИНА</i> Луна — фонарик для влюбленных... .. На улице ночь... ..	82

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ

<i>Татьяна ЦАРЬКОВА</i> Самое мягкое сердце. Сказка	83
<i>Маргарита БОЯРСКАЯ</i> Пожар в Дудинке. Миниатюра	85

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ ТАЙМЫРА

<i>Казимир ЛАБАНАУСКАС</i> Семь ледяных девушек. Сказка	87
--	----

Алевтина ЩЕРБАКОВА

Давай возьмем что есть с собою на двоих —
Я думаю, возьмем совсем немного:
Краюху хлеба, соль, да мудрый, добрый стих —
И вновь соединим стопу с дорогой.

Я знаю, впереди пути отрезок мал,
Но помнить надо истину простую:
Кто на двоих еще любовь в дорогу взял,
Того она в пути всегда врачует.

Никто не сможет нас так щедро одарить
Неповторимой нежностью мгновений.
Давай сегодня так друг другом дорожить,
Чтоб "завтра" наступило без сомнений.

Еще с собой возьмем ту песню, что поем.
Любовь, дорога, песня — неделимы.
Не зарастут быльем пути, что мы пройдем,
И, растеряв снега, отступят зимы.

Давай возьмем что есть с собою на двоих —
Я думаю, возьмем мы очень много:
Любовь, да хлеб, да соль, да песни добрый стих —
И вновь соединим стопу с дорогой.

Валентина ЗАВАРЗИНА

*Журналист. Публиковалась в окружной газете
"Таймыр", альманахе "Полярное сияние-97, 98".
Живет в Дудинке.*

ОЖИДАНИЕ

Столбик термометра сжат до предела,
Ветер уносит остатки тепла,
Время-предатель оцепенело,
Ночь в потрясении сон унесла.

Чувства столкнулись, круша очередности,
Страх и отчаянье, горечь и боль.
Только надежда в скорбной суровости
Чуть в стороне — ожиданья пароль.

И совместились, как эхо признания,
Слово проклятья с молитвой святой,
Чтобы услышал сквозь все расстояния
Зов, как маяк, как набат вечною.

Чтобы дорога между сугробами
Скатертью ровной легла пред тобой.
Автопилотом, метельными стропами —
Прямо домой, прямо домой!

Алексей СМИРНОВ

*Родился в 1963 году. Работал художником-оформителем, помощником режиссера.
Живет в Норильске.*

Мне трудно сказать тебе слово “любовь”.
Я боюсь поднять на него язык.
Любовь, как наркотик, закачанный в кровь,
К которому я еще не привык.

В ней мигом слетает со слов мишура,
Но голую суть язык не берет.
Так трудно когда-то сказать “пора”,
Но нужно решиться, и время не ждет.

И старая маска присохла к лицу,
А новую я уже не слеплю.
И губы набухли, подобно свинцу:
Так трудно сказать тебе слово “люблю”.

Геннадий КУЗНЕЦОВ

*Родился в Тамбовской области. С 1992 года
живет в Норильске. Работает в отделе снабжения.
Публиковался в периодических изданиях Норильска,
Тамбова и Мичуринска.*

О ЛЮБВИ

Одно единственное слово,
Один единственный лишь взор.
На сердце лязгнули оковы,
В душе раскаянье, позор.
Несчастье на мои седины,
Проклятье до семи колен.
Я, словно раб, сутулю спину,
Без боя вам отдался в плен.
Казните, милуйте, вы вправе
Вершить судьбы моей итог.
Принять меня иль жить заставить,
Я ваш непризнанный. Я Бог.
Отвергнутый и посрамленный,
К чертям! Безудержную власть
Простою смертной побежденный.
С небес в пылающую пасть
Геенны огненной ступаю.
Грехом влекомый вникуда,
Соблазном ядовитым. Знаю,
Разбавлена вином вода.
Я рай небесный покидаю
Ради земного слова "да".
Я слышу гром гласит раскатом,
Грозит вернуть меня назад.
Я знаю, быть теперь распятым,
Но я тобой в ночи распят.
На покрывале вьются тени...
Спешит под звездами река,
Впадает в море, море вспенит
Свои пологие бока,
Поднимется под купол неба.
Вот с Зевсом затевает спор:
— Ты знаешь, как ласкает Геба!
За что выносишь приговор?
За что казните Бога? Боги!
За грех желаний во плоти?
Всяк вправе выбрать свою участь
И знать, что будет впереди.
Не вы, она — его богиня.
И море мчится с вышины
В свои безводные пустыни.
Вдруг тень вспорхнула со стены
Летучей мышью, тишины
Не нарушая, нам вещает:
"Живите, если влюблены".

Дмитрий ВАСИН

*Публиковался в окружной газете "Таймыр",
альманахе "Полярное сияние-96".
Живет в Дудинке.*

Сомненья прочь — отныне ты моя!
Моя насквозь, но все же вожденная.
Так будет, пока вертится земля,
И прекратится с гибелью Вселенной.
В постели смятой, в бальной мишуре:
"Моя! Моя!" В мозгу не умолкает.
В твоих глазах и смеха серебре
В который раз мои сомненья тают.
И весь я твой, тебе принадлежу.
К одной тебе душа моя стремится.
Ежесекундно я к тебе спешу,
Чтобы в желании едином раствориться.
О, короли! Не знаете вы счастья -
Что ваша власть в сравненье с этой властью!

Геннадий МЕДВЕДЕВ

*Работает в Норильскгазпроме. Публиковался в
окружной газете "Таймыр", альманахе "Полярное
сияние-98". Живет в Дудинке.*

Чуть расслабься — любовь ускользнула.
В душу холодом дунуло вдруг.
Чуть расслабься — и бурей согнуло,
И бездарность берет на испуг.
Чуть расслабься — и совесть уснула.
И грустинка у близких в глазах.
Чуть расслабься — и жизнь обманула.
Лишь шипящий аккорд на часах.

Брусничкой, ивами и звездами
Гладь озера светилась в сентябре.
И облака морошковыми гроздьями
Нырjali в эти воды на заре.
Но вот листву сухую, с позолотою,
Взвихрил осенний ветер пеленой.
Пришла зима с постылыми щедротами
И все сковала коркой ледяной.
Зажав озера снеговыми стражами,
Ревниво льда прикрыла наготу.
Во что смотреться облакам прикажете?
И небо потеряло красоту...

Нина КОВАЛЬЧУК

*Работает в Хатангском аэропорту. Публиковалась в
окружной газете "Таймыр", альманахе "Полярное
сияние".*

БЕРЕЗА БЕЛАЯ

Береза белая,
Что ж ты наделала:
Пронзила душу мне
Насквозь, насквозь,
Мне сердце ранила
Воспоминанием,
Поникла в памяти
Калины гроздь.

Береза белая,
Подруга верная,
Целебной россыпью —
Твоя листва.
Умой же росами
Да спрячь под косами —
Хочу уйти от всех,
Не от себя.

А от себя нигде,
Нигде не спрятаться,
Не вернуться от
Судьбы своей.
Я мысли горькие
Хочу тебе отдать,
А ты их по ветру
Развей, развей.

Развей их по ветру,
Рассыпь их по полю,
Пусть не останется
От них следа.
Душа очистится,
Слезой все смоемся,
Как смоем талый снег
Весной вода.

Анатолий ЛЕВЕНКО

*Журналист. Автор сборников стихов "Зимняя вишня",
"Тридцать три". Печатался в альманахе "Полярное
сияние-97, 98". Живет в Дудинке.*

Исцелю. От губ
До пят.
И останусь в долгу
Опять.
Я люблю. Не лгу.
Опять.
Святость губ,
Ахиллесовость пят.
Как условности стерегут!
Как приличия ни вопят,
Я найду ахиллесовость губ,
Святость пят.
Оставаясь в долгу
Опять,
Исцелю. От губ
До пят.

Один при золотых зубах.
Другая при косе...
Привычнее любых забав
Слыть не таким,
как все.

Надежда МОРДАСОВА

*Психолог-консультант. Публиковалась в газете
"Заполярный вестник". Живет в Норильске.*

ТЕАТР

Рухнул занавес. Действо кончается,
И расходится зритель восторженный.
Сцена залом банкетным сменяется,
За накрытым столом маски сброшены.

Обалдевшим от счастья поклонникам
Травит байки главреж об Америке,
Дебютантка целуется с комиком,
Примадонна забилась в истерике...

Гамлет тискает чью-то племянницу,
Лир к Джульетте истасканной тянется.
Черен мавр от запоя недельного,
Плачет Теье слезами похмельными...

Здесь в стакане вина тонут гении,
Здесь в дыму растворяются истины.
В пыльном, душном, дрянном закулисии
Попирается все, что лелеяли...

Завтра лица замажут опухшие
И сыграют нам чувства великие
Дездемоны с глазами потухшими,
Короли и Ромео безликие.

Снова двери театра откроются,
В зал потянется зритель доверчивый,
Предвкушая, на чудо настроится
И внимать будет пьесе...

Марк ХАСДАН

Кандидат технических наук.

Родился под Гомелем, в местечке Новобелицы, в 1926 году. В Норильске — с 1942 года.

Цикл его стихов опубликован в сборнике "Гнездовье выюг".

Закованы с тобой в одной судьбе,
лицом к лицу - и в самой дальней дали.
Замок и ключ, и стороны медали
не существуют сами по себе.

Преграды на моем пути к тебе
бессчетно множились - и все же пали.
Мы добровольно то друг другу дали,
что не добыть ни силе, ни мольбе.

В непостижимых сложностях вселенной
великая возникла простота
и к нам явилась из стихии пенной.

И с той поры взаимная мечта
и обоюдные стремленья вечны,
как вечны Истина и Красота.

Татьяна ШАЙБУЛАНОВА

*Выпускница Литературного института
имени Горького.*

Таланта хватает и на прозу, и на поэзию.

*Публиковалась в журналах "День и ночь", "Юность",
альманахе "Полярное сияние", в поэтическом сборнике
"Гнездовье вьюг". Автор книги стихов и прозы "Мой
ангел".*

Сегодня мне не хочется курить.
Не хочется с друзьями выпить пива.
И слов высокопарных говорить
Я не хочу. Пусть это некрасиво.
Молчат в недоумении мои,
Случайные сегодня, визитеры.
Они студенты, учатся в МАИ,
Но, между тем, хорошие актеры.
И все они пытаются смеяться,
Хотят меня развеселить, и вот
Звучит за анекдотом анекдот.
А я устала даже улыбаться.
И только грустный мальчик у окна
Не шутит и не смотрит на меня.
Он в курточке военного сукна.
Роняет денежку. Она звеня
По полу катится к моим ногам.
Ну что же, я ему ее подам.

А он влюблен, я это точно знаю:
Он так спешит подать мое пальто,
Когда я на экзамен убегаю,
Он так меня растерянно встречает,
Он так уверенно не замечает,
Когда я говорю совсем не то.

Зачем он здесь, опять глядит влюбленно,
Меня сегодня утомлять пришел.
Я раздраженно накрываю стол,
Мои друзья смеются отвлеченно,
А грустный мальчик, стоя у окна,
Не хочет, чтобы я была одна.

Виктор ВОЩЕНКОВ

Член Союза журналистов России.

Родился на Смоленщине.

Печатался в окружной газете "Таймыр", альманахе "Полярное сияние". Автор поэтического сборника "Три судьбы".

170932

Таймырская
окружная
библиотека

Любимая, ты мой волшебный миг,
Горячей страсти огненный напиток,
В снегах застывший каменный ледник
И золотого солнца жгучий слиток.
Мое созвездье, шепот мой и крик,
Глаз колдовских сжигающее пламя,
И затаенный трепетный родник,
С упавшими на воду облаками.
...Ты женщина, и что здесь говорить,
Ты рождена для страсти и для муки,
А я — тебя всю жизнь боготворить
И целовать божественные руки.

Жизнь моя, до последнего вздоха,
До последнего горького дня!
Видит бог, как бывает мне плохо,
Когда ты покидаешь меня.

Ты уходишь в поля и рассветы
Златокудрой пугливой весны,
Где улыбкой твоею согреты,
Бродят детства волшебные сны.

Где тебя, мою сказку лесную,
Птицу счастья и боли моей,
В день рождения ветер целует,
Налетев с бородинских полей.

Чтобы после тяжелой разлуки,
Не стыдись ни обиды, ни слез,
Как всегда твои нежные руки
Подарили мне трепет берез.

...Пахнут губы твои голубикой...
Ну, за что же ты мучишь меня,
Жизнь моя, до последнего крика,
И любовь до последнего дня?

Александр СЛИЖЕВИЧ

Профессиональный рыбак. Печатался в коллективных сборниках, газетах "Таймыр", "Заполярный вестник". Живет в поселке Хантайское Озеро.

Нет, не растаял еще снег,
еще дымится под ногами.
В его мерцающем огне
все остывает между нами.

Мы плавим снег созвездьем губ
и теплотой прикосновений,
но исчезает откровенье
во лжи испуганных движений,
и снова

 снега
 шелест
 груб.

Снег расставанья вяжет вязь,
холодным вздрагивая светом...
Идут прохожие, дивясь:
— Откуда снег?
 Откуда — летом?

"Я вернусь.
 Обязательно.
 Ждите!"

Напишу и, конечно, сожгу.
Я по паспорту — северный житель,
А душою на Волге живу.
И брожу по сосновому храму,
Купол светел и ангельски чист.
Время дует на старую рану.
Сердце ровно и точно стучит.
Тропы памяти выются, как жилы,
То плутая, то просто темня,
По ладони судьбы покружили
И выводят на берег меня.
Хор прибой обрушился вольно!
Благозвучен и многоголос!
Голова затуманилась болью
От заржавленных крючьев волос...
...А однажды среди ночи проснешься
И необъяснимо поймешь,
Что ты никуда не вернешься
И полярною ночью умрешь...

Елена ГАТИЛОВА

*Родилась в Якутии. В 1991 году окончила Норильское педучилище и учится в Литературном институте имени Горького.
Работает библиотекарем. Живет в Норильске.*

Я — ЖЕНЩИНА

Я — нежная мать, я — женщина-зверь,
не открываю в беде свою дверь,
не бросаю отрывки страданий
в пытливые лица с оттенком сознания.

Смеюсь, когда плачу, пою, если плохо.
Я — женщина-мать, я — женщина-похоть.
Я знаю жестокую силу виденья,
я чувствую твердую руку сомненья...

Для стирки опять собираю обмылки,
я грусть предрассветную прячу в ухмылке:
я — женщина-верность, надежда, разлука,
я та, что приносит любовь и разруху.

Я — женщина-радость и женщина-горе,
я та, что с обрыва бросается в море.
Я здесь на мгновенье, я — женщина-вечность,
я — женщина-мать и девичья беспечность.

Я — женщина-кротость и женщина-злоба,
я шлюха и тут же опять недоτροга.
Входя, не склоняется пред образами,
а манит таинственно, томно глазами.

Такая, какую хотели бы видеть,
и если б могли, то должны ненавидеть.
Я — женщина-прелесть и женщина-скука,
я — женщина-нежность и женщина-сука.

Я знаю, какие нужны вам подруги.
И я затынула потуже подруги.
Я мчусь угорело по внешнему кругу,
я смелая — лучше любимого друга.
А мне бы дожить до вчерашнего дня,
где просто по имени звали меня.

Сергей ПОПУГАЕВ

*Родился в 1958 году. По профессии обувщик-модельер.
В Дудинке с 1972 года.
В 1983 году после травмы потерял слух.*

Не терпящему лесть и обман,
Как же мне называться по праву?
Я, скорее всего, хулиган,
Чем борец, защищающий правду.

Как неяркий забытый фонарь,
Отгоняющий тьму на два метра,
Я, наверное, больше бунтарь,
Чем маяк справедливого света.

Так лишивший себя самого
И надежды, и радости тоже,
Я невежда, скорее всего,
Чем судья над плохим и хорошим.

Все равно, что наивный маньяк
В поводу у безумнящей мысли,
Я, наверное, больше дурак,
Чем мудрец, понимающий в жизни.

РАЗГОВОР С СУДЬБОЙ

Жизнь моя - это стон в середине пожарища,
Средь нашивок и звезд, среди чертей и богов.
Я Судьбе говорю: "Подари мне товарища",
А Судьба, хохоча, преподносит врагов.

Подбирая крупички добра скрупулезные,
Отбиваясь от радужных мыслей и грез,
Я прошу у Судьбы: "Дай мне нервы железные",
А Судьба, издеваясь, доводит до слез.

Я хватаюсь за нить, что дорожкой незримою
Убегает в тот край, где остался твой след,
И прошу я Судьбу: "Сохрани мне любимую",
А в ответ тишина, нет ни строчки в ответ.

Где ты, детство мое дорогое, забытое?
Вновь к Судьбе я взываю, зубами стуча:
"Покажи, хоть во сне, мое солнце залитое"...
Но смеется Судьба по бессонным ночам.

Я извелся, устал. Кровь не греет холодная.
Хватит мне испытаний, подвохов и зла.
Я Судьбе прокричал: "Будь ты проклята, подлая!"
А Судьба: "Я тебя уж давно прокляла".

Галина ЛЕТЯГИНА

Член Союза писателей России. Публиковалась в местной печати, альманахе "Полярное сияние". В 1998 году вышел сборник ее стихов "Акварели, срисованные с дождей". Живет в Норильске.

Вошла сияющей звездой
в чужие миражи.
Там птица вьет свое гнездо
и продлевает жизнь.
Я знаю, что тебя ко мне
давно отправил Бог.
Вот-вот в набухшей тишине
распустится любовь.
И лопнут почки на ветвях
упрямо и легко.
Наполнит мир весенний взмах
зеленым сквозняком.
Мне ветры звездами шуршат
о том, что ты в пути.
Уже взошла моя душа,
чтобы тебе светить.

Расскажи мне,
Как ты просыпаешься.
Просыпание - это не грех.
От меня насовсем отрекаешься,
Попадаясь на новой игре?
Это позднее утро, а где-нибудь
Это день, или срок, или час,
Где меня тонкий сумрак сиреневый
Пеленой укрывает от глаз.
Каждый раз,
Как впервые,
Как заново.
Зажигаем малиновый свет,
Начинаем друг друга обманывать
И придумывать то, чего нет.
Расскажи мне, как ты просыпаешься.
Я ведь все это бросить вольна.
Как ты каешься, каешься, каешься,
И растет между нами стена.

Владимир КАНТАРИЯ

Родился в Грузии. На Таймыре стал мужчиной и поэтом. Печатался в окружной газете "Таймыр", альманахе "Полярное сияние". В 1994 году вышел сборник его стихов "Верните мне мое...". Лауреат литературной премии имени Огдо Аксеновой за 1998 год.

Было весело мне и больно:
 Я давился душой и "столичной".
 И сказала мне водка: "Вольно!
 У тебя раздвоилась личность".
 Ты заткнись, проклятушая,
 чую,
 Что шанель навозом запахнет.
 Что пропили коня и сбрую
 И содрали с голи рубаху.
 Что летим мы в Тартар
 по наклонной,
 Что просвет у лобика узкий.
 Что торгует у нас
 на Поклонной
 Русской славою новый русский.
 Было весело мне и больно
 Обворованной быть скотиной.
 И сказала мне водка: "Вольно!"
 И налила в стакан кручины.

Приходит женщина ко мне,
 Ночная гостья.
 Она в огне, и я в огне,
 И все так просто.
 Ее обман полузабыт,
 А мой в прощенье.
 Ее заел семейный быт,
 Меня — горенье,
 Она, как черная вуаль,
 А я, как клоун.
 Я лгу, и мне ее не жаль.
 Я ложью полон.
 Я знаю — ложь понятна ей,
 Но так желанна.
 И потому мы лжи своей
 Поём осанну.

Елена ЯГУМОВА

*Самая известная за пределами округа поэтесса.
Ее стихи публиковались в журналах "Октябрь",
"Москва", "Новый мир", в альманахах "Енисей",
"Полярное сияние".
Живет в Норильске.*

Солнце холодное — вот, что нашла в феврале.
Зимнее солнце. Норильск — ледяная пещера.
Только и света — сверкающий лучик химеры,
Переливаясь, порхает на льдистом стекле.
Только и песен — обрывки обманчивых снов.
Тянутся тени к луне и никак дотянуться не могут.
Дни без друзей, без тепла, без любви, без стихов
Режут мне сердце и льдами кристальными дрогнут.
Это в России, под Пензой, в сугробах очнулась весна,
Личиком теплым безбровым уткнулась в пушистые вербы.
Пахнет по-детски молочным и сладким от сна.
Но телогрейка в груди ей по-бабьи тесна,
Чревом набухла — беременна мартовским небом.
Это в Египте ночами седой Водолей
Жгучий песок орошает живительным Нилом,
Это в Египте, а наша Праматерь Ночей
Приворожила к Полярной звезде Енисей,
В ось мировую его позвонки обратила.
Это в Фессалии легкий, как свет, мотылек
Выпростал парусом крылышко в кудрях Хирона.
Сириус вышел. Дождит. И в лесах Пелиона,
Лист прошлогодний прошив, приподнялся росток.
Тихо раскрылась ночная рубашка цветка,
Капли дождя закатились в глубокую ранку...
Что ж теперь мучиться, если и мне спозаранку —
Призраки солнца и трель домового сверчка?
Что ж теперь мучиться, чем мой февраль виноват,
Если и я бесполезна, как лед, как стихи, как закат,
Если мой Бог между светом и тьмою распят,
Если мой ангел-хранитель устало поводит крылами?
Что же, мой свет, приходи, я тебя накормлю.
Свечку затеплим, послушаем вместе кассету,
Как у славян, у язычников славили лето,
Кукол соломенных жгли, а я сердце спалю.
Душу распну между небом и горькой землей.
Факелом вырвусь, предстану косматой кометой.
Ты помолись, помолись обо мне над золой.
Жезл одолжи у славян, перевитый лозой.
Кругом Соляным языческим шествуй за летом...

Анатолий САВИНОВ

Работает слесарем-электриком Норильского медного завода. Одержим литературным творчеством. Публиковался в газете "Заполярная правда", в альманахе "Полярное сияние".

ДОПИСАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ СТРОКУ

Рассказ

Ветер жужжит, будто рой диких пчел, и бьется в окно. Словно зовет с собой, словно там, позади каменных громадин города, существует что-то, кроме снега и льда, что-то, что стоит полета из пусть не совсем, но все-таки теплой квартиры. Когда-то я, не задумываясь, рванул бы за ним, но теперь... Теперь я стар. Говорят, человеку ровно столько лет, насколько он себя ощущает: что ж, следовательно, я глубокий старец — оганер, со всеми присущими старости предрассудками и душевными болячками.

Агарафобия — это не заболевание, а состояние души в определенный возрастной период.

Мама укутывает младенца для прогулки. Казалось бы, что может быть лучше чистого воздуха, простора, так необходимого для роста духа и тела? А младенец — в крик! Ему не нужен простор, ему важно видеть ту обстановку, которая привычна глазу и, следовательно, безопасна. Он пока не верит ничему и никому, как котенок, которого сажают в мешок, чтоб снести к ветеринару — поставить прививку. Кто может поручиться за то, что не выбросят его вместе с мешком в какую-нибудь лужу, привязав камень.

Старик похож одновременно и на младенца, и на котенка, с той лишь разницей, что боится он не малознакомых близких, а чужой тетке по имени Смерть. Умереть вне дома — вот что страшит оганера. Он, думаете, не боится смерти, жизнь, мол, прожил — не страшно? Дудки! Все ее боится. Боятся дома, на улице, а пуще всего в больнице. Но поговорка "дома и стены лечат" немного успокаивает, дает надежду, что не сегодня...

Наверное, потому я и отказал ветру, о чем после пришлось пожалеть...

Итак, после бушевавшей целую неделю пурги, наконец-то установилась нормальная северная погода. Стекла трещали от мороза, и туман такой, что в десяти шагах свет автомобильных фар не видать. Радиатор парового отопления работал в полноремы, за ночь пару раз отключали электричество. Короче говоря — нормальная жизнь обыкновенного избирателя: холодно, голодно, но мухи не кусают и на том спасибо.

Сижу, значит, я дома, матерю господина мэра и при этом пытаюсь состряпать для газеты хвалебный очерк о нем. А что поделаешь — кушать-то хочется. Ну вот, значит... (А дело было в аккурат под Рождество.) Вдруг — стучится кто-то... В дверь. Открываю...

Она казалась прекрасной как... Очень трудно подобрать сравнительный образ. Мраморная кожа излучала свет, настолько притягательный, что я невольно заслонился ладонью, дабы избежать соблазна. Из-под слегка припорошенной снегом шали скользнула и упала на брови влажная золотистая челка... Для человека моего возраста приход молодой женщины вообще походит на издевательство, а такой...

— Что вам угодно? — нарочито сухо спросил я.

— Простите, у вас не найдется случайно сигареты?

— И только-то? Конечно, погодите минутку.

Я стремглав, насколько позволили изможденные ревматизмом ноги, бросился в кабинет, где на столе лежала початая пачка «Золотой Явы». Схватив ее, вернулся обратно со словами:

— Человек я не богатый, но этот сорт не из худших... Но где же вы?

Площадка перед дверью оказалась пуста. И только дверь, выходящая из подъезда на улицу, лениво скрипела на порывистом ветру. Пожав плечами удрученно, я щелкнул замком и хотел вернуться назад в кабинет, но по пути решил выпить прописанное врачом и купленное дочерью за баснословные деньги лекарство. Зашел на кухню...

Удивлению моему не было предела, когда за столом увидел Ее. Кокетливо оттопырившую пальчики, из моей чашки пьющую чай из остывшего после ужина самовара.

— Ничего, что я тут?.. — смущенно спросила она.

— Ничего, конечно, только отчего же холодный-то?

С плохо прикрываемым волнением принялся изображать из себя гостеприимного хозяина. К великой удаче моей, это было не так сложно, поскольку недавно я получил пенсию и приличный гонорар за статью о проблемах молодежи в нашем городе. Холодильник ломился от приготовленных для внуков яств. Самому мне немного надо, а дети обещали встретить со мной Рождество. Вот и запаса, да только не пришел никто. Я их не виню. В конце концов, они молоды, у них свои интересы...

Говоря все это вслух и одновременно накрывая на стол, я ни разу не взглянул на гостью, но чувствовал, что она внимательно слушает. Когда все было готово и из самовара повалил густой пар, мы сидели лицом к лицу и мирно беседовали. Я не спрашивал ее, кто она, откуда — какая разница. Важно, что она здесь и я не один. Пусть не надолго, пусть она сейчас встанет и уйдет, но пока она здесь, я не устану наслаждаться ее присутствием, ее удивительно синими глазами, запахом молодого женского тела. С возрастом обоняние усиливается, особенно по этой части.

— Вы, наверное, очень одиноки в своей большой квартире? — спросила она.

— Отчего же? У меня дети есть, внуки.

— Но ведь не здесь — не рядом...

— Еще есть память. Есть то, чего не вернуть и чего не миновать. То, чего жду и чего страшусь. Видите сколько? А вы говорите "одиноки". Нет, мне не одиноко, скорее скучно. Все осмысленно и предсказуемо.

— Так ли?

— Уж поверьте.

— А я, за целую вечность, не могу позволить себе сказать такое.

Я невольно засмеялся в ответ.

— Что вы смеетесь? Бывает, придешь к человеку, радуешься, а он к тебе спиной. Нет! Поначалу плачут, потом любят, а время проходит — гонят со двора, как старую дворнягу, это когда поближе познакомятся. Я ль не пригожа, вот вы скажите мне? Отчего все так? Почему бояться меня люди?

— Выдумываешь все, — неожиданно для себя перешел я на «ты». — За тобой, небось, парни толпами бегают.

— Сперва за мной, после...

— Ну тут уж тебе самой нужно задуматься: может, не так ведешь себя порой, а может, еще чего...

— Думаю, от начала времен все думаю и думаю, а ничего понять не могу.

— А ты хоть одного любила из них?

— Всех и еще как... Всем существом своим.

— Это не дело — всех любить. Ты выбери одного, и он за тобой на край света побежит.

— Легко сказать одного. Вот вы сможете выбрать, которого из своих детей больше любить?

— Ну ты загнула! То дети, а то... Да и среди детей возможно... Вот, скажем, Танька, средняя моя дочка, знала бы ты, сколько сил мне стоило, чтоб из нее человек получился...

— Знаю.

— Так теперь я ее, наверное, больше всех люблю.

— Если по такому принципу отбирать, все равно много получается.

— А ты попробуй по-другому: к примеру — кто тебя больше любит.

После этих слов она как-то странно на меня посмотрела, потом уставилась в потолок и задумалась...

За окном вновь начиналась пляска пурги. Да какой! Просто сумасшедшей. Схожей разве что с камланием шаманки.

— А что если я тебя выберу? — после паузы спросила гостя, так же перейдя со мною на "ты".

Прямо скажу — поначалу я опешил от такого поворота:

— И не стыдно смеяться над стариком?

— Я не смеюсь.

Не зная, что ответить ей, отхлебнул остывшего чая, закурил...

— Ты ж меня завтра бросишь, найдешь кого помоложе и... Только я тебя и видел.

— Не брошу. Пока сам не прогонишь, во всяком случае.

Ветер еще шибче напирал на окно, словно стрем пролавить стекло и, ворвавшись, подхватить нас и ути... Далеко-далеко...

— Ну что ж, оставайся. Посмотрим, как дело пойдет наконец, вымолвил я...

Три дня после этого колошматил снегом в окно в И три дня в плохо отапливаемой квартире было тепло. Четвертый день моя юная леди, подойдя к окну, сказала:

— Ну хорошо, хорошо — сейчас идем. Не нервничай так.

Поворотившись ко мне, ласково произнесла:

— Собирайся, милый, пора.

— Куда это в такую погоду?

— А тебе не все ли равно? Ведь ты обещал... Хотел дойти до край света... Помнишь?

— Обещал? Но ты, по крайней мере, скажи: надо!

— Навсегда. Слышишь, нас ветер зовет?

— Ладно, пошутили и хватит. Можешь идти, если хочешь.

— Одна?

— А это уж как вам будет угодно, сударыня.

"Сударыня" неожиданно резко повернулась и... Сидела! Предо мною стояла немощная старуха. Седые волосы висали на плечи, изможденное, изборожденное складками страданий лицо отдавало запахом плесени.

— Кто ты? — вскричал я, заслоняясь от взгляда обеими руками.

— Жизнь! — спокойным голосом ответила она. Бавила:

— Ты только что отказался от меня.

Едва произнеся эти слова, она словно растаяла в духе. Вместе с нею куда-то подевался и ветер. Стало тихо, и слышно было, как подкрадывается смерть. Успеть бы дописать последнюю строку...

Норильск. 1999 г.

Виктор САМУЙЛОВ

Родом из Тверской области.

По профессии военный вертолетчик.

Уйдя в отставку, приехал на Север. Работает на трассе газопровода. Печатался в альманахе "Полярное сияние", газете "Заполярный вестник".

ПОЛИТОТДЕЛЬСКИЙ ЯЩИК

Рассказ

Желто-красный, раскаленный, жгучий песок! Мириады злых колючих песчинок в носу, во рту, в глазах! Невозможно дышать, рвет горло: пить! пить! Рядом, совсем рядом кто-то из жестяной мятой лейки поливает грядки огурцов. Почему из лейки? Да еще жестяной, мятой? И почему обязательно огурцы? Он уверен в этом! Он почти видит радужное сияние капель воды, веером вылетающих из поржавевшего, в дырочках, раструба. Хорошо слышит дробь струек. Вот они сыпанули горохом по трепещущей, сочной зелени, мягко прошелестели за грядкой. И так раз за разом: то россыпь гороха, то мягкий тихий шепоток. Все ближе и ближе. Вот уже повеяло терпкой прохладой в воздухе: еще чуть-чуть и живительная, долгожданная влага омоет исхоженное, иссушенное жаром лицо, смочит губы. Ну, где же ты? Пить! Пить!

Капитан Орлов мучительно выдирается из видения. Первое, что он почувствовал, — тошнотворный запах мочи, блевотины, потом промозглую, стыльную сырость в каждой клетке скрюченного одеревеневшего тела. Попытался открыть глаза, повернуть голову в сторону шелеста — боль раскаленной иглой вонзилась в мозг. Прислушался: «Что со мной? Где я? То, что не в пустыне, — это ясно. Да и не на грядке...» Горло болезненно свело — нет воды!

Попытался восстановить предшествующие события. Отрывочные несвязные картины происшедшего ускользали из чутунно гудевшей головы. Все же что-то он вспомнил. Кажется, с вечера собирался ехать в политотдел авиации флота. Так... а зачем? Вроде как на парткомиссию. Если это так — неприятности да еще какие! Чуть отступившая боль резкими точками запульсировала в висках, сердце комом встало в горле: «Меня же из партии выгнали, а значит, и из авиации... Все — отлетал!»

Рванулся встать, выпрямиться не успел: со всего маху ударился о низкий потолок и со стоном упал на настил из досок, подвывая от боли. С ужасом осмотрелся — бетонированная полутораметровая клетка-куб. С одной стороны — железные прутья, намертво вмонтированные в пол и потолок, дверь-решетка из таких же прутьев... Замок... «Так вот каков этот знаменитый политотдельский «ящик»!.. — ужаснулся он. — Вот и познакомились...»

Орлов скрючился на деревянном настиле. Кругом блестела какая-то жидкость. Правая сторона кителя и брюк мерзко липла к телу. Сунул руку между ног — сухо. Лежал,

наверное, в этом дерьме, потом в бессознательстве выполз, где посуше, на доски. От жажды язык распух, заполнил весь рот, мешал дышать, губы запеклись болезненной коркой. Он присмотрелся к луже на бетонном полу, повозил пальцем в этой подозрительной жидкости. Вроде, вода. Показалось — что-то плавает. Решил — в глазах мухота похмельная. Черт с ним, хоть губы смочить... Олег черпнул ладошкой, поднес к лицу: запах мочи, блевотины ударил в нос, желудок содрогнулся, съежился, рванулся к горлу. Рухнув ничком на доски, он забился в рвотных судорогах. В ладо-ни чувствовал розовые кусочки колбасы, зеленый горошек, еще что-то осклизлое. Пытался вытереть руку о доски, но ужас от чуть не проглоченной чужой блевотины заставлял желудок конвульсивно содрогаться в спазмах. Олег обессилен... Из последних сил рванулся к бетонной стенке, лицом уткнулся в сухой рукав кителя, стараясь сукном приглушить тошнотворные запахи. Чуть успокоившись, отдышавшись, придерживая рукав у лица, подтянулся к решетке.

По проходу не спеша передвигался матросик с повязкой на рукаве — дневальный, размеренно шаркая веником по цементному полу... «Вот тебе и вода, и лейка, и огуречная грядка...» По ту сторону прохода — несколько клеток с лежащими на полу телами, по-видимому, спящих людей — слышался храп, стоны.

Орлов попробовал позвать матросика: смог выдавить из себя еле слышный сип. Вытянув руку, схватил замок, погребел о решетку. Дневальный оглянулся, осторожно, с опаской подошел к клетке. Раздирая горло болью, Олег прохрипел: «Позови кого-нибудь!» Матрос, кивнув головой, исчез. Капитан задыхался в спертom воздухе. Казалось, еще чуть-чуть, мгновение — и сердце остановится, или лопнет голова, или еще что-то случится — и он умрет, если сию же минуту его не вытащат из этого ужаса. Олега колотило, трясло. Клацали зубы, руки зябко стыли, засунул их в рукава кителя — не греет: промерз до последней клеточки. «Да быстрее... ну кто-нибудь! Где же этот дневальный? Может, совсем ушел? Нет, веник, вон, бросил, лежит сиротливо на сером бетонном полу».

Облегченно услышал приближающиеся голоса, кто-то выговаривал начальственно знакомым басом:

— Не мог догадаться, что побрызгать нужно? Тут и так смрад стоит, теперь пылицу развел.

— Да ее, товарищ капитан, вон сколько в клетках... Я веник смачивал...

— Балбес! Какая там вода? Моча да дерьмо! Возьми ведро, набери чистой! Все чтоб по порядку, а то самого запру!

Голос приблизился:

— Ну что, голубок? Очухался? Ну ты наворочал... Инструкторов политотдела разогнал, коменданту вывеску подпортил. Однако, молодец! За что ты так их? Зря все же... Теперь завалят они тебя...

Орлов поднял голову, прохрипел:

— Андрюха! Ломов! Не узнаешь?

— Олег?! Неужели ты... Вот черт! А я слышал: вертолетчика «упаковали в ящик», аж прямо из политотдела... Ни за что б не подумал на тебя.

— Пропади они пропадом! Андрей, выпусти, дай попить, околеваю!..

— Сейчас, сейчас.

Дежурный по комендатуре капитан Ломов, командир самолета вертикального взлета и посадки ЯК-38, завозился с замком, открыл зловеще скрежетнувшую дверь:

— Хоть бы смазали. Выходи!

Олега так трясло и колотило, что он не в силах был опереться или схватиться руками за что-то. Судорожно дернувшись, он растерянно посмотрел на Андрея: «Ты знаешь, никак не могу...» Тот присвистнул, подхватил за одну руку сам, на другую кивнул стоявшему рядом матросу. Они осторожно извлекли Олега из клетки, поставили на ноги.

— Идти сможешь?

— Попробую...

Придерживаясь за стену, Олег сделал несколько неуверенных шагов: «Ничего, разойдусь понемногу». С трудом передвигая одеревеневшие ноги, придерживаемый с двух сторон, он заковылял по проходу. Каждый шаг отдавался острой болью, суставы скрипели, трещали.

— Вот сволочи, что делают! — матерился Ломов. — За людей не считают, раньше думал — от бестолковости нас уродуют, а тут все по плану — политика! Вот паразиты! Надо тебя пока в санчасть, а там в госпиталь: семь часов на бетоне валялся — все может быть: почки или легкие, не дай бог, застудил!

— Эх, Андрюха! О чем ты говоришь? Какая санчасть, какой госпиталь?! Партбилет положил вчера! А это все! Конец моей летной карьере, да и с армией придется распрощаться! Жизнь с нуля, а на гражданке меня никто не ждет, своих забот там хватает. А этим!.. Плевать на мое здоровье, да и на твое тоже; пытались на парткомиссии вступить: и ваш замполит, и с шестнадцатых ТУшек — майор Горин, да куда там: сам начальник политотдела авиации флота командовал.

— Да... Все это мы видим, Олег, не ты первый, не ты последний. Мы тут рядом, все на глазах, — проговорил Ломов, помогая Орлову преодолеть ступеньки на выходе из подвала; провел его в дежурную комнату, посадил на топчан.

— Ну что? Перво-наперво надо горяченького — нутро прогреть, потом приляжешь, укроем потеплее, согреешься — полегчает. А там подумаем, как жить, авось все обойдется...

От горячего кофе пришлось отказаться: на резкий переход от холода к теплу тело отреагировало крупным мучительным ознобом, более похожим на судороги. Ко рту невозможно было поднести пластмассовый стаканчик, влить в желудок хоть чуть-чуть согревающего напитка — голова дергалась, как у паралитика, зубы выбивали непрерывную дробь. Ломов, смочив губы и лицо Олега водой, уложил его на топчан, набросив на него шинели — свою и дневальную.

Даже тут, в комнате, при включенном обогревателе, было не тепло. Андрей болезненно и зябко передернулся. Приморская осень сыра, промозгла, холод пробирает до костей и в более комфортных условиях.

Лицо Орлова побелело, заострилось: на лбу капли пота блестели крупными бусинками влаги. Дышал он тяжело, со свистом и скрипом где-то в горле и легких. Ломов беспокойно посмотрел на матроса:

— Что делать? Как пить дать заболеет, если уже не заболел. Смотри лицо какое, а дышит как — все сипит...

— Да ничего страшного, обычное дело — опохмелить нужно, грамм сто-двести, прочистит все — согреется. А так может и крикнуть, был уже такой случай.

— Чего мелешь?! «Крякнуть...» Я тебе покажу, умник, все знаешь!

Андрей схватил ручку, на клочке бумаги что-то быстро написал:

— Сбегай ко мне домой, записку — жене, принесешь что даст, бегом!

Матрос исчез за дверью, Андрей присел на топчан.

— Олег, как же так получилось? Полгода прошло, к мы из последнего похода вернулись, вроде все нормально было: жена, сын тебя встречали?..

— Ничего не было, Андрюха, хорошего, ничего! Плохо! Уже года три-четыре плохо. Помнишь, перегонял крейсер «Минск» из Николаева во Владик?

— Конечно, помню, как можно такое забыть? Мы в тогда отработывали с палубы взлет и посадку по-самолетному. На взлете при отрыве сорвались в воду: скорости успели набрать... Если бы не ты... Моя все просит: «Ну лгласи в гости, дай посмотреть на нашего спасателя!» Гагзоны-то всего в пятнадцати километрах друг от друга, а и не нашли время встретиться.

— Вот и встретились!..

— Не тужи, Олег, наш замполит со связями — не добиду.

— Нет, все, Андрей! Три месяца назад он отстоял! А тут уже по-серьезному, подготовлено и решено. Начальник политотдела присутствовал: подумаешь при ма — партбилет отобрать, без начальника обходились так вот! Чтоб не было осечки. Доклад уже, наверное, и проскочил еще тогда. Да, поливали меня дерьмом от д как будто и не было десяти лет, как говорится, безуной, верной службы Родине. Ну и не выдержал я, о стало. Сам знаешь, у них буфетик шикарный на п этаже. Махнул пару стаканов после всего. А тут, как н инструктор этот... пасть раскрыл: «Боевой офи ле...тчик, партбилет положил, уже пье...шь. Да ты д всю жизнь перед партией на коленях ползать, мо прощении...» — ну и в таком духе. Сам поним взъярился я: «Ах, ты, паскуда, боров нехолощенный меня коришь?! Мы здоровье свое за вас, сволочей к рожих, гробим! Пока нас нет, баб наших топчете!!.» зал от всей души. А, думаю, пропали оно все пропал меня — там, а я вас — тут. Кто-то еще там крутился. хо помню. Пока они за подмогой бегали, в горячи стаканов еще хлопнул... Остальное, как в тумане. Андрей, вспомни! Еще после той перегонки отпра в береговую эскадрилью. Чувствовал — устал, не вы ваю, здоровье стало барахлить. Сын без меня выро как чужая баба. Может, после перерыва, оно и н особенно для первого раза. Ну, а потом — пост скандалы. Отвыкли — у них своя жизнь, для них я д жой, мешаю. А мне человеческого, родного тепла домой вечером прийти, чайку на кухне попить в т уюте, с сыном поиграть. Да сколько можно на эти как болтаться? Так нет же — терпи, молодежь под ем, переведем. Вот и перевели... До пенсии год ост чинай жизнь в тридцать три года сначала. Ищи м жить, ищи работу. Не дотянул, не дали, сволочи!

Слезы мутили глаза Орлова, беззвучно задерживались. Молча сидевший рядом на стуле Ломов полс на судорожно вздрагивающего в рыданиях друга. коить? Что сказать? Его положение почти один да и не у него одного.

Вбежала запыхавшаяся Вера — жена Андрея — Ну, принесла?

— Принесла, только не то, что вы просили. Она открыла термосок, налила в кружку теплого молока, чем-то желтым приправленного, присела на топчан, приподняла голову Олега, приговаривая, как над грудным несмышленным ребенком, приложила к его спекшимся губам кружку.

— Ну, давай, родненький, миленький, понемножечку, это молочко теплое, сейчас мы тебя вылечим, сейчас поднимем, поставим на ноги, а то нашли лекарство — водку. Сердито стрельнула глазами в сторону Ломова: «Тоже хорош, совсем не соображаешь, чуть что — стакан!»

— Да я что... — Андрей растерянно посмотрел на ухмыляющегося матроса. — А ну марш отсюда!

Орлов старался не смотреть на молодую женщину. Беспомощно-унизительное положение, в котором он находился, прибавляло к и так мучительному опустошенному состоянию еще и чувство безысходности. Ему жалко было себя, слезы, помимо его воли, стекали по бледным, уже с пробивающейся седой щетиной, щекам.

Вера, громко сморкаясь в один и тот же платок, которым терла себе нос, глаза и вытирала слезы на щеках Олега, рассказывала:

— Ритка — буфетчица из политотдела — зашла ко мне вчера вечером. Я даже представить не могла, что это наш Орлов. Когда они там разбежались, Олег подошел к буфету, извинился за шум, попросил два стакана коньяка, один за одним выпил, постоял немного и упал, как сноп. Она стала кричать: «Доктора! Доктора!» А начальник политотдела: «За ноги падаль, и в ящик!» Комендант и инструктор взяли его, как и сказал...этот, потащили. Может, он мертвый, а может, жив, спасти можно, а они его ташат по лестнице, голова — по ступенькам, потом по улице — по гравию, по щебенке, в комендатуру. Благо, она всего-то в ста метрах. Что же это такое, за что? Ну, бросил он им партбилет на стол, говорят, сказал: «Подавитесь вы этими корочками вместе со своей партией!»

Орлов вслушивался в спокойный женский голос. Вера рассказывала, как-то по-деревенски, по-бабьи причитая, с тихими вздохами, с явным укором мучителям, с состраданием к несправедливо обиженному. Олег согрелся, чуть успокоился, уже не таким безвыходно-непоправимым казалось его положение. Обида за перенесенные унижения разжигала желание жить, бороться: «Рано вы меня похоронили, рано! Не так просто сломать капитана Орлова!»

Нет, не сложно оказалось расправиться с неугодным, слишком строптивым пилотом — одним из лучших боевых летчиков полка. Перевели Олега на землю. Отлучение от неба переживал тяжело. Начал крепко попивать, все к одному, посыпалось здоровье: давление, сердце, плохо с почками. Несколько недель провалялся в госпитале, поправили организм до уровня, позволяющего добраться до дома, и комиссовали подчистую — запас третьего разряда.

Тихий волжский городок, летом знойно-пыльный, зимой выстуженный до звона северными ветрами, беззаботно гоняющими поземку по голым, безлесым просторам Поволжья. На его окраине, за невысоким забором, среди аллей вековых вязов, лип, тополей — корпуса летного училища. Непередаваемо красив учебный городок весной, летом, да и осень лишь ярче оттеняет увядающим разноцветьем листвы монументальность вековых стен, сложенных из темно-бурого кирпича. Здания, в основном двухэтажные,

со всевозможными башенками, портиками, арками; ухоженные газоны, идеальная чистота, порядок. Какая-то трепетная атмосфера суровой далекой старины вокруг этих стен. Таинственный полумрак и тишина под густыми кронами могучих деревьев вызывает чувство причастности к чему-то важному и необходимому. Это все — учебный городок. Вокруг, через две проходные, — жилая часть училища. Курсантам сюда свободный вход запрещен, только строем на стадион, на занятия в новый учебный корпус или еще какие-то официальные мероприятия. Тут больше современных зданий, меньше зелени: бетон, стекло — совсем другой дух. Чопорность, безразличие на мордах откормленных собак, выгуливаемых франтихами — женами живущих тут офицеров.

Анахронизмом выглядит среди яркого благополучия фигура пожилого мужчины, изредка темной тенью проскальзывающего мимо этих псов, мимо их надменных хозяек. Вот он постоял у проходной учебного городка. Что он мог увидеть там, в глубине тенистых аллей? А может, хотел увидеть? И опять — тихой тенью по городку, какая-то надломленность, трагичность в суховатой прямой фигуре...

Но мужчина все же не бестелесное существо. Кафе-рюмочная метрах в двухстах от училища. Небольшой зальчик, его излюбленное место — столик ближе к выходу: видит всех, его не успевают — вперед, к стойке. В основном сидит один на один со стаканом вина. Но видно, что знают его многие: здороваются, шутят, в ответ редко услышат что-то веселое, легковесное. Улыбнется лицом, а глаза усталой тоской так на вас посмотрят, что шутить желание пропадает: быстрее рюмочку, да отвернуться.

В холода на нем — потертая шинель, если потеплее — китель. Ну, а совсем жарко — кремовая рубашка. Все в безукоризненном состоянии, пуговицы до одной на месте, блестят якорями. Иногда исчезнет на две-три недели, потом появляется неизменно в своем уголке, похуевший, осунувшийся. На вопрос, где был, что случилось, криво усмехнется: «Отдохнул немного...»

Изредка его можно увидеть в компании с молодежью, высоким подполковником. Много они не говорят, да и говорить ничего не нужно. Иногда налит третий стакан, на нем — ломтик хлеба. Это тот редкий случай, когда мужчина напивается. А дальше — по обычному сценарию: все ждут с некоторым напряжением, ждут — и всегда неожиданно слышат громкий, болью наполненный голос: «Что я тут делаю? Скажи!? Почему я тут? А они там! Почему?!»

— Все, Олег, пойдем, пойдем, домой пора. Выпей на дорожку — и потихоньку...

Подполковник осторожно помогает мужчине подняться из-за стола, уводит его. На несколько минут — неловкая тишина. Посетителям, летчикам училища, инструкторам, эти слова — как удар хлыста, укор совести. Там, далеко, гибнут их товарищи, их ученики. Их вина — плохо готовили, плохо учили.

Через некоторое время зал пустеет — нет причины сегодня тут задерживаться: не для веселья собрались они в этот день сюда.

Официантки, с красными заплаканными глазами, в одиночестве сидят за столиком. Посетителей почти нет. Издалека видна черная траурная лента на красиво штампованной вывеске — кафе «Встреча».

Елизавета БАРСУКОВА

С 1985 года живет в Дудинке. По образованию инженер-строитель. В 1999 году вышла в свет ее первая повесть «Прощальная симфония».

ПРОЩАЛЬНАЯ СИМФОНΙΑ

Отрывок из повести

*Смерть стоит того, чтобы жить.
А любовь стоит того, чтобы ждать.*
Виктор Цой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**1**

Был теплый вечер, то время суток, когда ночь еще не вступила в свои права, а день нехотя покидал землю.

Полутемная комната была наполнена чарующей мелодией «Прощальной» симфонии Гайдна.

У открытого окна, в кресле, сидела женщина. Ее рука, сохранившая былую красоту, нежно гладила кошку, уютно усевшую у нее на коленях.

Седые, аккуратно уложенные волосы сглаживали бледность лица; некогда синие, потускневшие с годами глаза излучали тепло. Во всем облике этой красивой, старой женщины чувствовалась притягательная доброта.

Любой, вошедший в комнату в эту минуту, увидел бы лишь одинокую фигуру.

Но это было не так.

Она была не одна.

Он был рядом.

— Сейчас потухнет последняя свеча и скрипач уйдет со сцены, — очень тихо произнесла женщина.

Прозвучали последние аккорды симфонии.

— Ты не только знаешь мелодию, но и видишь ее исполнение.

— Память детства. Мне было лет десять, когда я услышала ее впервые, в филармонии. Симфония свечей!

— «Прощальная», ставшая началом бессмертия и славы!

— А что такое бессмертие? — женщина отвела взгляд от окна. — Ведь это не только когда о тебе помнят?..

— Бессмертие — когда тебя не просто помнят, а и любят, как ты меня.

Мария ощутила на руке нежное прикосновение.

— Я хочу тебя видеть, — тихо сказала она и, осторожно сняв с колен кошку, не спеша встала с кресла, подошла к большому зеркалу в массивной деревянной оправе, висевшему на стене.

Мария закрыла глаза и тихо позвала:

— Подойти ко мне.

— Я здесь!

Мария посмотрела в зеркало. Оттуда ей улыбался мужчина, лет тридцати — тридцати пяти. Смуглое, несколько удлиненное лицо обрамляли черные, слегка вьющиеся волосы, закрывающие челкой высокий лоб; большие карие глаза и маленькие морщинки у рта придавали лицу озорной, мальчишеский вид.

Мария молча вглядывалась в знакомые черты.

Через несколько минут она так же молча вернулась села в кресло и долго смотрела на стоявший перед окном тополь, с которого уже облетала листва.

— О чем ты думаешь, родная?

— Ты помнишь, как все началось?

— Конечно, помню, — и она вновь ощутила нежно прикосновение на руке...

2

...Мария шла по бульвару, делившему улицу на две половины, и протянувшемуся на всю ее длину, до самого парка.

Старые деревья по обеим сторонам бульвара ветвями накрывали его словно крышей, под которой летом можно было спрятаться от дождя.

Уже зажгались уличные фонари. Люди расходились по домам после очередного рабочего дня. Кто спеша, а кто вразвалочку, наслаждаясь вечерней суетой улиц. Начинаясь та часть суток, когда каждый принадлежит самому себе и своей семье.

Торопиться ей было некуда. Егорку из садика забере зять Игорь. Дома ее никто не ждал.

Мария прошла через площадь, на которой еще стоял новогодняя елка, украшенная лишь множеством разноцветных ветных лампочек, и спустилась в парк.

Она любила бывать здесь. В любое время года он был по-своему красив: и в пышной летней зелени, когда посередине пруда плавали черные и белые лебеди; и в золото осенней листве; и под покровом зимы; и весной, когда бегут ручьи и все вокруг дышит запахом оживающей природы.

Мария вышла на набережную, которая была продолжением парка, и пошла вдоль парапета к катку. Опять вспомнился сегодняшний разговор в мастерской.

Молоденькая чертежница, с горящими от возбуждения глазами, уверяла:

— Да я сама раньше в это не верила! Вы попробуйте — сами убедитесь!

— Это в чем же мы убедимся? — поинтересовалась Мария, подходя к девушке.

— Мария Николаевна, а вы когда-нибудь видели спиритический сеанс?

— Нет, никогда.

— А вы верите в это?

— Как можно верить или не верить в то, чего не знаешь?

— А я знаю! Я сама видела, как ходила иглолка... И читала... А они смеются!

— А зачем же смеяться? Все мы люди разные, по-разному все воспринимаем. Надо уметь уважать убеждения других...

«А может быть, эта девушка права, может быть, что-то ты на самом деле?» — думала Мария, наблюдая за катающимися на катке. — А что если попробовать?»

...Мария сняла пальто, сапоги, вошла в комнату и посмотрела на портрет, висящий на стене. С портрета ей улыбался мужчина. Из какой бы точки комнаты Мария ни смотрела на него, она всегда встречалась с открытым взглядом его больших, приветливых глаз, направленных, казалось, в самую душу. Он всегда провожал и встречал ее.

— Вот я и дома. Как вы тут без меня? — Мария погладила котенка, калачиком свернувшегося в мягком кресле. — Пойдем, я тебя покормлю. Проголодался, наверное.

Котенок соскочил с кресла и впереди хозяйки побежал к кухне. Мария покормила его, приготовила себе кофе и чашкой в руке вернулась в комнату.

Зазвонил телефон.

— Бабушка, это я, — услышала она голос внука, — где ты была, мама уже два раза тебе звонила!

— Здравствуй, маленький! Я гуляла. А как у тебя дела?

— Хорошо. Бабуля, приходи к нам, я соскучился.

— Обязательно приду, только не сегодня. Позови маму.

Мария поговорила с дочерью, потом трубку опять взял Игорька, и долго рассказывал ей обо всех событиях дня. Она пила кофе, слушала внука и время от времени переводила взгляд на портрет безмолвного свидетеля ее жизни. Она уже сама не помнила, как это началось, но последние годы она делилась с ним всеми своими радостями и печалью.

Вот и сейчас, окончив телефонный разговор, она снова налила кофе, села в кресло напротив портрета и тихо сказала:

— Кирилл, я хочу поговорить с тобой, но не как всегда. Не знаю, получится ли. Но я очень этого хочу. Помоги мне.

Мария достала из книги листок с написанным на нем по часовой стрелке алфавитом. Он давно был у нее, но она не решалась прибегнуть к его помощи. Зажгла две свечи. Поставила иглу в центр круга и дрожащим голосом произнесла:

— Прошу прийти...

— Положи иголку, она тебе не нужна. Ведь ты слышишь меня.

Рука Марии застыла в воздухе. Растерянным взглядом, полным испуга, она обвела комнату, ища кого-то. На мгновение ей показалось, что с того места, где стояла ваза с сухими ветками, букет в стиле «икебана», отделилась полосатая тень, очертание которой напоминало щупальца морского животного.

— Чего ты испугалась? Успокойся, — вновь раздался таинственный голос.

Он был успокаивающим. Мария отчетливо слышала каждое слово.

— Кто здесь?

— Не говори так громко, я хорошо слышу тебя. Это я, Кирилл.

У Марии пересохло в горле. «Что все это значит?» — встревожилась она.

— Это значит, что теперь мы можем слышать друг друга. Ведь ты этого хотела, хотела меня услышать.

«Телепатия», — промелькнуло у нее в голове.

— Да, ты права.

— Так ты можешь читать мои мысли?

— Тогда, когда ты захочешь этого, когда ты позовешь меня.

— А что ты еще можешь? — голос Марии стал спокойнее, ею овладело любопытство.

— Пока ничего. Но я научусь.

— Чему?

— Пока не знаю, — на минуту голос затих. — Спасибо тебе.

— За что?

— За твою любовь.

Это была правда. Она действительно его любила. Это было странное, но очень сильное чувство, оно нахлынуло на нее внезапно. Никогда раньше Мария не испытывала ничего подобного ни к кому, даже к мужу, смерть которого (это случилось, когда дочери Диане было десять лет) до сих пор осталась незажившей раной.

Мария затушила свечи. Встала, прошла по комнате.

— А ты знаешь, как меня зовут?

— Конечно, Мария. Но я буду звать «любимая».

Голос звучал тихо, в каждой нотке слышались любовь и признательность.

— Я часто слышал, что кто-то говорит со мной. Но не знал, кто это. Я помню все, что ты мне говорила.

Мария посмотрела на портрет. И вновь видение — ей показалось, что он изменился. Она закрыла глаза руками. Потом, овладев собой, вернулась в кресло, сделала глоток уже совсем остывшего кофе.

Зависла полная тишина.

Кирилл нарушил ее.

— Мы никогда не были с тобой знакомы. Я никогда даже не слышал о тебе. За что ты любишь меня? За что люблю тебя я — это понятно. Но ты? Как это могло произойти?

— Для меня самой это загадка, — Мария отвечала вслух. — Я много слышала о тебе. Когда ты погиб, первым чувством была жалость — непрожитая жизнь, недопетая песня, прерванная любовь. Постепенно жалость отступила на второй план, а ее место заняла любовь. Меня долго преследовала мысль, что ты жив, что произошла ошибка, что однажды я услышу о тебе от кого-нибудь.

Кирилл слушал ее не перебивая. Если бы кто-нибудь мог видеть его в эти минуты, сердце бы у него сжалось — по щекам мужчины бежали слезы. Но и Марии не дано было этого видеть. Она могла только догадываться о том, что творится в этой красивой, так обиженной судьбой, душе.

— А тебя не интересует, как твой портрет попал ко мне?

— Какое это имеет значение. Раз это так, значит, ты почему-то захотела этого.

— Я понимаю, что это звучит странно, — продолжала Мария. — Вот поэтому я ношу это в себе. Никто не сможет меня понять, да и я не могу этого объяснить.

Мария умолкла. Она не знала, что в эти минуты Кирилл стоял перед ней на коленях и осыпал поцелуями ее руки. Но непреодолимое желание прильнуть к его груди овладело всем ее существом.

— Ты устала, тебе надо отдохнуть. Сейчас я уйду. Обещай, что завтра ты позовешь меня.

— Обещаю.

Но Мария не сдержала своего слова. Она не позвала его ни завтра, ни послезавтра, ни в течение следующих двух недель.

Что удерживало ее? Страх? Но перед чем? Этого она долго не могла понять...

3

...Было воскресенье. Мария обещала Егорке сходить с ним в кино.

Она вышла из дома, прошла несколько кварталов и села в автобус, идущий в противоположном направлении от дома Дианы. Мария знала, на каком кладбище похоронен Кирилл, но она никогда не была там.

Ориентируясь на год смерти Кирилла, она бродила между могилами, внимательно глядясь в надписи. Наконец, она нашла ее. У могилки стояло двое пожилых людей. Мария прошла мимо и стала издали наблюдать за ними.

Женщина тихонько плакала, а мужчина курил одну сигарету за другой, нервно теребя их пальцами. Потом женщина взяла мужчину под руку, и они молча пошли по заснеженной дорожке между могилами. «Кто это?» — думала Мария, глядя на удалявшиеся фигуры двух сгорбившихся под тяжестью горя и печали людей.

Мария подошла туда, где недавно стояли эти двое.

«Тридцать два года», — подумала она, прочитав надписи на гранитной плите.

Постояв недолго, Мария ушла, оставив на снегу алую розу.

«Повторится это еще, захочет он говорить со мной, услышу я его опять?» — вот что мучило ее все это время, вот что вызывало у нее страх.

4

— Я уже волновалась! — Диана внимательно посмотрела на мать. — Что с тобой?

— Все хорошо, устала немного.

Услышав голос Марии, Егорка выбежал из комнаты.

— Бабуля, родненькая! — он обнял ее за колени, насколько позволял рост. — Я жду тебя, жду! Мы пойдем гулять?

— Я же обещала, конечно, пойдем!

— Сначала бабушка отдохнет, выпьет чай. А ты покажешь ей свою новую машинку.

— Идем, бабуля!

Егор взял Марию за руку и повел в комнату.

Через минуту вошел Игорь с подносом в руках. Ему всегда доставляло удовольствие ухаживать за любимой тещей. Егорка показал свою новую игрушку. Через минуту он был уже «гонщиком» и, не обращая внимания на окружающих, занялся своими делами.

Диана не сводила с матери глаз. У них всегда были доверительные отношения, но она никогда не задавала лишних вопросов. Между ними существовала какая-то незримая нить, передающая их внутреннее состояние от одной к другой.

— Игорек, пойдем со мной! — Мария поднялась и прошла на кухню.

— Дай мне сигарету.

— Ты же бросила курить.

— Ничего, одну можно.

— А поговорить ты не хочешь? — Игорь поднес зажигалку.

— Смотря о чем.

Мария закурила.

«Так, разговора не будет», — Игорь оставил на столе сигареты, зажигалку и вышел.

— Не ходи туда, — остановил он Диану. — Пусть побудет одна.

— Что она делает?

— Курит.

— Как только она вошла, я поняла — что-то случилось.

— Ну ты же знаешь маму, если захочет, она потом в рассказе.

— Этого она не расскажет.

— Почему ты так думаешь?

— Я это чувствую.

Мария вошла в комнату. Она улыбалась, но Диана заметила еще не высохшую слезу на ее щеке: «Ей надо сейчас уйти».

— Егорка, давай одеваться. Вы опоздаете в кино!

Мария с благодарностью посмотрела на дочь: «Спасибо тебе, ты все понимаешь, родная!»

Для Егорки был праздник, когда они вместе ходили гулять. Мария часто забирала его из садика, но воскресные прогулки доставляли ему особую радость. Нельзя сказать, что Мария баловала его. Она бывала с ним строга, но строгость воспринималась не так, как мамина или папи. Когда Егорка говорил бабушке: «Я больше не буду», в глаза ему можно было прочесть: «Ведь ты меня все равно любишь!» Мария, действительно, очень его любила!

В детском кинотеатре было много народу. Родители, усадив детей в зале, ожидали окончания сеанса в простом вестибюле, где стояли огромные, в человеческий рост куклы — персонажи сказок. Мария села у окна и погружалась в воспоминания. Она думала о своем детстве, о св. маме и папе, о своей сестре, — бывало, они и ссорились, спорили, но друг без друга не могли прожить и дня. «Нельзя поговорить с Дианой, нельзя Егорку оставлять одного. Хорошо, если у него будет брат или сестра».

Вестибюль наполнил гомон детских голосов.

— Бабуля, бабуля! Какой там был большой дядя! Смотри на него глазами. Он такой сильный, вот такой камень под ногой.

— Егорка развел руки широко в стороны, как только Мария одевала внука, а он все тараторил, тараторил.

— Пойдем, по дороге расскажешь.

— А куда мы пойдем, бабуля?

— А куда ты хочешь?

— К белке. Ей нужно купить орешки.

— Только ей? — Мария с улыбкой посмотрела на внучку.

— И мне!

В живом уголке Детского центра Егорка угостил внучку орешками, поговорил с вороной Каркушей, сфотографировался с обезьянкой Дашей. Возвращаясь домой, он пил мороженое «на всю семью», как говорил Егорка.

— Мама, папа, посмотрите, что у меня есть! — начал Егорка с порога и достал из курточки фотографии.

— Две обезьянки! — засмеялся Игорь.

— Нет, там только одна обезьянка! Ты что, не знаешь?

После ужина все вместе ели мороженое. Мария с Игорем покурили, поговорив обо всем и ни о чем.

Диана предложила матери остаться у них. Но Мария отказалась. Она пошла к себе домой. Она знала, что там ее ждут.

5

С того вечера их «встречи» стали постоянными. В любое время, когда Мария хотела поговорить с Кириллом, он тут же отзывался на ее «приглашения».

Происходящее озадачивало Марию.

Она увидела разницу между существующим и тем, что она могла осознать.

Чаше всего человек машинально воспринимает жизнь со всеми ее загадками. Даже многое, созданное руками собратьев, не находит логического объяснения в умах простых обывателей.

Редко кто начинает задумываться над очень сложными проблемами, которые окружают нас на протяжении всей жизни.

Существование человека, его сущность — самая неразрешимая загадка природы, разгадать которую люди стремятся многие века, но никому не удается этого сделать. Так, многих интересовала и интересует способность людей, очень малого их числа, слышать голоса умерших. Тот, кому это удастся, рискует стать посмешищем в обществе. Тот же, кто осмеливается об этом рассказать, может быть причислен к умалишенным.

Мария не могла обратиться ни к кому за помощью в разгадке с ней происходящего, за ответами на вопросы, которых у нее с каждым днем становилось все больше и больше. Что хуже, знать и не сметь об этом говорить или прозябать в неведении?

Единственным выходом для нее стало окунуться в литературу, которую многие считали псевдонаучной. Но поможет ли ей это?

Мария разыскала книги Великих Учителей Востока и семьи Рерихов; доктора Раймонда Моуди и знаменитого трансмедиума Артура Форда с одинаковым названием «Жизнь после жизни». Серию книг Сергея Лазарева, рассказывающих о карме. Но нигде она не нашла исчерпывающего ответа на свои вопросы. Среди множества подтверждений жизни за смертью не было ни одного примера длительного общения живущих в разных измерениях.

А Мария каждый день сталкивалась с доказательствами реального существования в ее жизни Кирилла, причем они становились все более и более ощутимыми.

6

Кафе было почти пустое. За одним столиком, в углу, сидели четверо молодых ребят.

Егор любил приходить сюда с бабушкой. Они ели мороженое, любимое лакомство Егорки, пили кофе и вели доверительные беседы.

Вот и сейчас, когда Мария забирала его из детского сада, он сказал:

— Бабуля, нам надо поговорить.

— Ну что ж. Надо, значит, поговорим. Пойдем в кафе?

— Да.

Егорка многозначительно кивнул.

Официантка принесла им кофе и пирожное.

— А мороженое? Бабуля! — Егорка просящим взглядом посмотрел на Марию.

— Как я понимаю, разговор у нас будет долгим, успеем и мороженое доесть.

— Ты права.

— Я тебя слушаю.

Егорка поковырял ложкой пирожное.

— Это между нами?

— Разумеется.

— Я решил жениться.

— Это очень хорошо, — Мария с большим трудом сдерживала улыбку. — А на ком?

— На Маринке.

— Это та девочка, у которой длинные косички и большие белые банты?

— Она. — Егор тяжело вздохнул. — Но она меня не любит.

— А как же ты хочешь жениться на ней, если она тебя не любит?

— Ты мне pomoжешь?

— Как?

Мария внимательно посмотрела на внука.

— Забери завтра нас из садика и отведи к себе.

— А ты не подумал о том, что ее родители будут волноваться?

— Подумал. — Егорка распробовал пирожное и с аппетитом уплетал его. — Мы оставим в ее шкафчике записку.

— Так! Пей кофе. Получается, ты уже все решил. А если Марине не понравится у меня?

— Почему? Мне же нравится! Правда, кукол там нет. Бабуля, купи большую куклу. Пожалуйста!

— Договорились. Я куплю куклу, но ты пока жениться не будешь. Подождем. Вообще, мне кажется, в шесть лет жениться рановато.

— Я понимаю. А вдруг она уйдет в школу, а мне еще в садике учиться. Как же быть?

— Думаю, вы вместе пойдете в школу.

За разговором Егор съел пирожное и выпил кофе.

— А теперь мороженое.

— Посмотри, как ты испачкался!

Салфеток на их столе не было, и Мария достала из сумки носовой платок.

— Отвлеки ребенка, — услышала она знакомый голос.

— Егор, посмотри, что нарисовано на стене, сзади тебя. Я не понимаю, что это.

Мальчик отвернулся, чтобы рассмотреть картину, и в это время на столе перед Марией появилось несколько бумажных салфеток.

— А если кто-нибудь заметил? — Мария огляделась по сторонам. — Как ты здесь очутился?

Кирилл положил одну салфетку перед Егором, который все это время подробно рассказывал бабушке, что нарисовано на стене.

— Ну ладно, пойдем домой. По дороге договорим. Вытри губы.

— А мороженое? — одновременно спросили Кирилл и Егорка, который усердно вытирал губы салфеткой.

Мария растерялась.

— Бери мороженое, бабушка, бери, — рассмеялся Кирилл. — Ведь ты обещала, а слово надо держать.

— Как ты нас нашел? — спросила Мария, заказывая мороженое.

— Какое это имеет значение? Главное — я здесь.

Принесли мороженое, и Егор, забыв о своих проблемах, принялся за него.

— Не торопись. Ты давно здесь?

Мария уже научилась разговаривать с Кириллом и еще с кем-нибудь одновременно. Поначалу это было сложно, но со временем вошло в привычку и происходило само собой.

— Я ждал тебя в детском саду и пошел за вами.

— Ну как тебе заявление внука? Егор, не торопись. Вот так всегда. Никак не научится есть мороженое маленькими кусочками.

— Дети все такие. Вспомни себя.

— Я еще хочу. Бабуля, родненькая, пожалуйста!

— На сегодня хватит. Надо идти, мама с папой уже ждут нас.

— Так что же ты посоветуешь внуку? Жениться или не жениться?

— Надеюсь, он об этом уже забыл.

Но Мария ошиблась. Когда они вышли из кафе, Егор взял ее за руку и очень серьезным тоном сказал:

— Пожалуй, ты права, бабуля. Мне еще рано жениться.

Но куклу ты все-таки купи. Пригодится.

7

Кирилл не переставал удивлять Марию. С каждым днем он все чаще давал ей возможность убедиться в бесспорном его физическом присутствии.

Но однажды...

Это было весной, накануне дня ее рождения. Как всегда, Кирилл пришел встречать ее после работы, и они долго бродили по городу. Побывали в парке, любимом месте их прогулок. Когда они проходили мимо художественного магазина-салона, Кирилл попросил:

— Давай зайдем!

— С удовольствием, — согласилась Мария, — я люблю здесь бывать.

В салоне выставлялись картины местных художников, работы мастеров резьбы по кости и дереву.

Они ходили по залу, останавливаясь почти перед каждой картиной, делились впечатлениями.

— Добрый вечер, Мария! — к ней подошел высокий пожилой мужчина с военной выправкой.

— Здравствуйте, Владимир Владимирович!

— Давно вы к нам не заходили. Выбрали что-нибудь?

— Я просто хочу посмотреть. Можно?

— Конечно. Вас интересует чеканка?

— А есть что-то новое?

— Несколько великолепных работ на темы эпоса.

— Обязательно посмотрю.

— Если понадобится, я всегда к вашим услугам.

— Кто это? — спросил Кирилл, когда мужчина удалился.

— Директор салона. Талантливый художник. С ним произошло несчастье, он повредил сухожилие. После этого он открыл этот салон. Кстати, вот одна из его работ.

Мария указала на картину в массивной багетовой раме — зимний пейзаж.

— А я не мог понять, почему он держит руку в кармане. Честно говоря, я считал это за невежество.

— Он очень милый человек. Ну что скажешь? Как тебе?

— Не сравнить с другими, выставленными здесь. Чувствуется рука большого художника. Странно, что эту картину до сих пор никто не купил.

— Желающих много. Но она не продается. Пойдем, я покажу тебе его автопортрет.

— Он тоже не продается?

— Да.

Мария остановилась около портрета красивого молодого человека в костюме наездника.

— Если бы ты не сказала, что это его портрет, я бы его не узнал.

— А ты всмотришься внимательно. Особенно в глаза. Учти, что сейчас ему больше семидесяти, а здесь он изображен юношей.

— А откуда этот костюм?

— Он был жокеем. И неплохим. А вот это его конь. Смирный. — Выше автопортрета висела картина с изображением головы лошади. — Обрати внимание на глаза. Он плачет.

— А почему?

— Этого я не знаю.

— Мне кажется, эти картины должны висеть в музее.

— Там тоже есть его работы. А это как бы визитная карточка салона.

— Я правильно тебя понял? Ты хорошо знаешь этого человека.

— Да. Это папин друг.

— Теперь все понятно. А вот и то, о чем говорил Владимир Владимирович, — чеканка по меди. Мне очень нравится.

— Мне тоже.

— А здесь есть отдел, в котором продаются краски, кисти, и прочее?

— Конечно, пойдем.

В следующем зале можно было приобрести все необходимое для художника.

— Ты можешь купить мне то, что я попрошу?

— Конечно. А что ты хочешь?

— Сейчас. Я сначала все посмотрю.

Кирилл долго рассматривал витрины.

«Интересно, что он ищет?» — подумала Мария.

— Найду, тогда узнаешь.

— Я забыла, что ты все слышишь.

— Возьми, пожалуйста, этюдник, пачку бумаги и угли.

Мария сделала покупки, и они возвратились в выставочный зал.

Кирилл еще раз остановился у портрета молодого жокея. Когда он подошел к Марии, она разговаривала с владельцем салона.

— Вы, я вижу, решили заняться живописью.

— Нет. Это для моего друга.

Кирилл взял ее под руку.

— Ты забыла добавить, для любимого друга.

Мария попрощалась с Владимиром Владимировичем. Дома, по просьбе Кирилла, она поставила этюдник у окна,

приколола к нему лист бумаги и положила рядом кусочек угля. На следующий день, когда они с Кириллом, как всегда, погуляв после работы, вернулись домой, Мария увидела на этюднике не чистый лист бумаги, а свой портрет.

— Это тебе мой подарок ко дню рождения. Нравится?

— Очень. Спасибо! Но на портрете я моложе, чем на самом деле.

— Нет. Ты здесь такая же, как в жизни. Мне виднее. Несмотря на свои пятьдесят... — Кирилл замялся, — на твои годы, душа у тебя молодая...

...Осенью Мария поехала в отпуск к морю. Она взяла с собой этюдник. Рано утром, когда все еще спали, она ушла с ним на берег моря. Кроме углей, у нее были с собой краски и кисти. Домой она привезла около двадцати рисунков.

8

— Если через десять минут он не замолчит, я что-нибудь сделаю.

— Ты зачем сюда пришел?

— Мне надоело ждать тебя. Сколько можно? Уже три часа заседаете!

— Меньше. А ты где? — Мария посмотрела по сторонам. Справа от нее сидела Галина Степановна, слева — главный энергетик, Иван Трофимович. Он мирно посапывал под монотонную речь выступающего. Рядом с ним двое молодых людей увлеченно разгадывали кроссворд.

— Я сижу на коленях у этого толстяка. Все равно он спит. А мне не хочется стоять.

— Ты можешь не разговаривать со мной?

— Не могу, мне скучно.

Один оратор сменялся другим. Наконец, ведущая собрания худоская женщина писклявым голосом спросила:

— Кто еще хочет высказаться?

Зал зашумел, давая понять, что все ясно, пора расходиться.

— Собрание окончено, — вновь раздался писк ведущей.

Застучали стулья. Все направились к выходу.

— А мы что сидим? Вообще, тебе, как пенсионерке, такие мероприятия можно пропускать.

— Нельзя, — Мария поднялась.

Они вышли из зала и направились в ее кабинет.

— А ты не хочешь позвонить Диане?

— Я разговаривала с ней днем.

— Ничего, позвони еще.

Кирилл снял трубку телефона и протянул ее Марии. Она рассмеялась.

— С тех пор, как ты научился двигать предметы, от тебя постоянно надо ждать сюрпризов. Диана, это я. А что случилось? Сейчас приеду!

— В чем дело?

— Я не поняла. Пойдем скорее! — Мария распахнула дверь. — Ты где?

— Жду тебя в коридоре.

— Я все время забываю. Пойдем!

Через десять минут такси остановилось у дома Дианы. Мария открыла дверь своим ключом и, на ходу снимая плащ, прошла в комнату.

— Вот! Полюбуйся на него! Спрашиваю, что случилось — молчит! Сначала говорил какую-то ерунду, а теперь молчит!

В кресле сидел Егорка, держа у глаза мокрое полотенце. Мария отвела его руку — под глазом был огромный синяк.

— Ничего, мальчишки без синяков не растут, — Мария старалась говорить спокойно. — Ты расскажешь мне, что случилось?

Егорка посмотрел на нее, но ничего не ответил.

— Вот отец приедет, он ему...

Мария перебила дочь.

— Оставь нас, пожалуйста, вдвоем.

Диана вышла, а Мария села напротив внука и внимательно посмотрела ему в глаза.

— Ну, рассказывай. Ведь у нас нет секретов друг от друга.

— Бабушка, я сам не знаю, что случилось! — У Егорки был очень испуганный голос.

— Не знаешь, как появился у тебя синяк под глазом?

— Это я знаю. А вот потом...

— Давай все по порядку. С кем ты подрался и почему?

— Со Славкой и его друзьями. Они ждали меня возле дома.

— Это тот высокий парень, что живет в соседнем подъезде?

— Да.

— Из-за чего вы подрались?

Егорка молчал.

— Так. Этого ты говорить не хочешь. Ну ладно, будем считать, что причина была веская. А что же было потом?

У Егорки загорелись глаза, от волнения он начал заикаться.

— Я не знаю. Сначала они все втроем на меня напали. А потом... Потом как начали кричать: «Ой! Ой! Больно! Больно!» И как-то странно прыгать.

— Что значит, странно прыгать?

— Ну странно!

— Так, а дальше?

— Потом Славка подпрыгнул. Высоко-высоко! Сначала долго болтал в воздухе ногами, а потом сел на землю и заплакал!

Мария все поняла.

— Кирилл! Это твоя работа?

— Ну не мог же я смотреть, как трое бьют одного?

— Ладно. Потом поговорим. Егорка, а может быть, ты преувеличиваешь?

— Ты мне тоже не веришь? — от обиды у него на глаза навернулись слезы.

— Видишь ли, я тебе верю. Но вот если ты станешь на стул и прыгнешь с него с закрытыми глазами, тебе покажется, что ты спрыгнул с большой высоты. «Какую ерунду я говорю? Но что же ему сказать?» Знаешь что, возможно, ты не понял, как все произошло... Ты, наверное, их все-таки побил. Сначала они баловались. Прыгали, как ты говоришь, странно, а потом поняли, что ты можешь дать сдачи. Вот посмотришь, больше они тебя не тронут. Но ты сам не задирайся. А Славка просто сел неудачно и заплакал от боли. Такое бывает. Вы с ним в одном классе?

— Нет. Он в седьмом, а я только в шестом.

— Только! Не только, а уже, — Мария погладила внука по голове. — Ну ладно, иди умойся.

9

Для Марии как бы приоткрылся занавес, у нее появилась возможность заглянуть в ту область человеческого, вернее, духовного бытия, которая одновременно и влекла, и пугала.

Не раз она пыталась вызвать Кирилла на разговор о том, что сейчас ее больше всего интересовало — реальность жизни за смертью, какова она.

А Кирилл упорно уходил от этого разговора. Ему был понятен интерес Марии, но он, словно учитель, давший ученику «самостоятельную работу», ожидал ее окончания. Чтобы в очередной раз избежать «консультации», он отправлялся гулять, оставляя Марию наедине со своими мыслями.

Мария читала книгу, вернее, сидела с открытой книгой в руках. Взгляд ее остановился на чем-то за окном.

— Ты научилась хорошо скрывать свои мысли. Я не слышу, о чем ты думаешь.

— У меня много вопросов к тебе. Мы можем поговорить?

— А ты уверена, что готова к этому разговору?

— Думаю, что да.

— Тогда поговорим. Я тебя слушаю. Что тебя интересует?

— А ты ответишь на все мои вопросы?

— Постараюсь. Если смогу.

Мария отложила книгу. Непонятное чувство овладело ею. Она хотела многое узнать, но сознание, что ответы будут даны из «первых рук», придавало предстоящему разговору особое значение.

— Давай договоримся. Мария, ты должна быть очень спокойна. У нас много времени, торопиться некуда. Будем прерывать нашу беседу, если ты устанешь. На какое-то время ты должна полностью «отключиться» от окружающего мира, расстаться с привычным для тебя восприятием природы.

— Но ты прервешь меня, если мои вопросы будут или некорректными, или тебе просто тяжело будет об этом говорить.

— Согласен. Я тебя слушаю.

— Скажи пожалуйста, у тебя было чувство страха перед смертью, я говорю о том времени, когда ты был жив?

— Нет. Я не боялся умереть. Я боялся не успеть сделать всего, мною намеченного. Смерть избавила меня от физической боли. Покинув скорлупу, называемую телом, я ощущаю необыкновенную легкость. Но жажда жизни еще живет во мне.

— Ты не возражаешь, если я попытаюсь провести параллель между твоими ответами и тем, что я читала?

— Конечно, нет. Это даст тебе возможность лучше понять то, что для многих недостижимо.

— Я не один раз встречалась с понятием «инкарнация». Например, Даниил Андреев¹. Его душа прошла цепь инкарнаций. А вот что пишет об этом Форд. Я буду зачитывать те места, которые касаются нашего разговора.

— Я слушаю.

— Так вот. Артур Форд² пишет: «...Ему, как только будут найдены подходящие в этом случае родители, предстоит снова родиться на свет ребенком и разобраться в том, что он сможет получить из дальнейшего земного опыта...» А от кого это зависит — я говорю о возвращении на землю, о новой жизни? От самой души или от кого-то другого?

— Много зависит от того, для чего душа стремится вновь к земной жизни. Если ее помыслы чисты, она вольна сама выбирать себе место нового рождения и новых родителей. А если в ее стремлении есть корысть, она не только никогда не достигнет своей цели, но и не поднимется выше первой ступени.

— Форд называет это «стадией».

— Это одно и то же. Ступени, или стадии, душе дают возможность больше раскрыться, обогатиться духовно. Помнишь рассуждения Сведенберга³ о том, что личность человека становится более благородной благодаря тому, что переходит в следующую сферу бытия, на следующую ступень.

Развитие личности здесь достигает неограниченных высот. Даже те, кто считался на земле посредственной личностью, обнаруживают в себе какие-то способности и совершенствуются. Этот процесс обогащает всех.

Что ты знаешь о космосе? Для живущих на земле космос имеет два понятия: ближний — исследуемый при помощи космических аппаратов и межпланетных станций, и дальний — мир звезд и галактик. Но ни один корабль не достигает истинного космоса. Космос — высшая ступень развития души. Жизнь космоса — это жизнь человеческой души в виде бета-тел.

— Я помню, у Форда говорится о том, что, в отличие от физического тела, бета-тело неделимо, оно «атомическое», целостное по своей природе. Но, как говорит Майерс⁴, в условиях земной жизни физическое тело всегда совмещено с бета-телом.

— Позволь, я договорю. Так вот, особенность космоса как энергетического слоя галактики — накопление информации о происходящем на земле. Мысль любого человека материальна, то есть она, переходя по невидимым каналам в космос, навсегда остается там, материализуясь в определенное «тело». Именно эта материализация, способная хранить содержание мысли, возвращается на землю, находя своего адресата. Люди с большой силой мысли, будь это добро или, к сожалению, зло, способны переносить свои пожелания на большие расстояния.

— И все эти мысли остаются в «памяти» космоса?

— Абсолютно все. Но здесь есть одно «но». Имея полную информацию о поведении человека в земной жизни, сомневаясь в его намерениях, вернее, в чистоте этих намерений, ОН никогда не упрекает человека, душу его, за его дела и помыслы.

Это неправда, что человек, совершивший на земле какой-то проступок (не будем говорить о преступлениях,

¹ Даниил Андреев (1906 — 1959 гг.) — сын знаменитого русского писателя Леонида Андреева.

² Артур Форд (1896 — 1971 гг.) — великий американский медиум-менталист XX столетия, ученый, парапсихолог.

³ Эммануил Сведенберг — шведский ученый, философ, живший в XVIII веке.

⁴ Фридерик Майерс (умер в 1901 г.) — профессор Кембриджа, исследователь в области парапсихологии.

здесь к ним особый подход), так, житейские мелочи, здесь за него наказывается. Даже если сам человек, в силу высокой требовательности к себе, считает это грехом. ОН относится к нам так, как будто мы все продолжаем учиться и познавать мир.

Развитие души, особенно в духовных сферах любви и познания, не прекращается со смертью, оно происходит и за земной чертой. Возможно, это длится вечность.

— В книге Раймонда Моуди⁵ «Жизнь после жизни» очень часто встречается описание некоего существа из света, представляющего собой личность, очень определенную личность, причем, общение с этой личностью, восприятие ее голоса происходит не через физические каналы органов чувств. Знаешь, когда я об этом читала, я думала о нашем с тобой общении, о том, как и что позволяет мне тебя слышать.

— Тот же самый телепатический уровень общения. Я не боюсь этого сказать, ты находишься на одной из высших ступеней развития личности как индивидуума. Определенные усилия развили в тебе ярко выраженные телепатические способности.

— Но я никогда не занималась...

— Сознательным их освоением. Все происходило на подсознательном уровне. Возможно, со временем у тебя появятся еще какие-нибудь неограниченные возможности познания не только земного пребывания души, что принято называть «жизнью» человека, но и степеней ее дальнейшего развития. Такие феномены уже встречались.

— Я хочу зачитать тебе один отрывок из книги Раймонда Моуди. Меня это очень заинтересовало. Послушай. Это о существе из света. «...Интересно, что персонификация его изменяется от индивидуума к индивидууму и, кажется, в большей степени зависит от религиозных убеждений, жизненного опыта и взглядов конкретной личности. Так, большинство людей, воспитанных в христианской вере или на ее традициях, отождествляют свет с Христом и иногда ссылаются на библейские параллели, описывая то, что видели...»

— Существо из света — космического происхождения, энергетический сгусток разума высшей субстанции.

Вспомни статью Павла Мухортова, рижского корреспондента, об экспедиции в Пермскую аномальную зону. Большой Огонь Галактики — вот как расшифровывает он слово БОГ. И ведь это не его утверждение, а контактеров.

Ну ладно. На сегодня, я думаю, достаточно. Отдохни.

...Уже давно стемнело. Мария посмотрела на часы, было далеко за полночь.

— Я хочу пойти погулять.

— Тебе не кажется, что это не совсем хорошая идея? А если кто-нибудь тебя увидит? Что о тебе подумают? В такое время женщина одна на пустынной улице.

— А я вовсе не одна. Со мной ты — мой ангел-хранитель.

10

Мария суетилась в кухне. Скоро должна прийти Диана, чтобы помочь матери в приготовлениях к вечеру. Но

Мария решила сделать все сама. Тем более, что Кирилл был отличным помощником.

Когда они ходили за покупками, Мария только делала вид, что несет сумку. На самом деле ее нес Кирилл. Они старались быть очень осторожными на улице, не привлекать внимание окружающих.

Зато дома все ограничения снимались. Кирилл двигал стулья и кресла, когда надо было пылесосить, накрывал и убирал со стола, следил за порядком в доме. Он только не касался электроприборов.

...Как-то Мария стирала, и Кирилл решил ей помочь. Мария только загрузила машину, как раздался звонок в дверь. Пришла подруга Дианы Милочка. Она часто заходила к Марии.

Они разговаривали, и вдруг Мария услышала, что заработала машина. Она пошла в ванную — машина была включена, но воду почему-то всю перекачало в бак для отжима.

— Извини, я хотел помочь.

— Все понятно, Кирилл. Ничего страшного. — Мария выключила машину. — Пойдем занимать гостью.

Вскоре Мила ушла. Надо было продолжать стирку. Мария приготовилась выливать воду из отсека отжима, но бак был пуст.

— Вот видишь, я все исправил. Вода уже «на месте».

— Я вижу. Но, Кирилл, пожалуйста, не трогай больше никакую технику. Договорились?

— Ладно. Но я должен понять, в чем дело.

— Когда поймешь, тогда мы найдем способ ее от тебя обезопасить. А до тех пор побережем и ее, и себя...

— Кирилл, принеси, пожалуйста, вазу для фруктов. Она...

— Я знаю, где она. Мне уже пора накрывать стол, а то я не успею. А где скатерть?

— В шкафу, на верхней полке. Там и салфетки.

Кирилл направился в комнату, и в это время открылась дверь и вошла Диана.

— Хорошо, что у меня в руках ничего нет! А почему она так рано пришла? Мне еще столько надо сделать!

— Не скажу же я ей, чтобы пришла попозже?! Все хорошо, не волнуйся.

— Мамочка, я же сказала, что приду и все сделаю.

— Здравствуй, родная! Я рада тебя видеть. А работы тебе и дома хватает.

— Поздравляю с днем рождения! — Диана обняла мать.

— Подарок принесут мужчины, а пока только цветы.

— Спасибо! Какая прелесть!

— Мамочка, ты не будешь возражать? Егор придет с Маринкой.

— Очень хорошо. Я давно ее не видела.

— А мне что теперь делать? — Кирилл расстроился.

— Этого я не знаю. Посмотри телевизор. Сейчас я его включу.

Но Кирилла не устраивала роль наблюдателя.

— Сделай звук погромче.

— Зачем?

— Пожалуйста! И займи Диану на кухне.

— Мама, что делать?

— Пойдем поговорим. — Мария буквально развернула за плечи дочь, собиравшуюся войти в комнату. — Расскажи, как Егор? Что он решил? Будет поступать?

⁵ Раймонд Моуди — доктор философии, психиатр.

— Он еще думает. Главное сейчас — сдать экзамены в школе.

— Но времени осталось очень мало.

— Я это понимаю, а он, похоже, нет.

Воспользовавшись громким звучанием телевизора, Кирилл выдвинул стол на середину комнаты, раздвинул его и накрыл скатертью. Теперь надо было умудриться расставить посуду, но она была на кухне.

— Мария, принеси тарелки.

— Сейчас.

Мария взяла стопку тарелок и направилась в комнату.

— Мама, давай я отнесу.

— Нет-нет! Я сама. Займись пока фруктами. Их надо помыть.

— А почему они мокрые?

— Так получилось. Помой их еще.

— Спасибо. Дальше я сам. Мария, захвати вазу для фруктов.

— Расставишь тарелки — и все. Я не могу привязать Диану в кухне.

— Не волнуйся, я буду осторожен.

Диана так ничего и не заметила. Она не обратила внимание на то, что с каждым ее приходом в комнату, на столе было все больше фужеров и стопок, что около каждого прибора появились салфетки. Чтобы сделать приятное Марине, Кирилл посадил на диване куклу, много лет назад купленную специально для нее.

— Бабуля, я уже забыл про нее.

— А я нет.

Марина взяла куклу и, как маленькая, прижала ее к себе.

— Когда-то она казалась мне такой большой!

— Когда бабушка тебе ее купила, ты была не намного больше, чем она.

— Я помню.

— Что ты можешь помнить? Нам тогда было по шесть лет.

— А представь себе, помню. Однажды я даже уснула с ней вот на этом диване. Правда, Мария Николаевна?

— Правильно, Маринка, было такое.

Кирилл слушал их, и, пожалуй впервые за эти годы, ему стало немного жаль, что никто из них не знает о том, что и он, Кирилл, всегда был рядом с ними. Что это он защищал Егора от нападения мальчишек, он помогал ему учиться плавать и именно он, Кирилл, каждую ночь приносил Диане по одной розе, когда она несколько лет назад лежала в больнице.

Мария словно почувствовала его настроение.

— Прошу всех к столу! Игорь, открывай шампанское!

Гости уже разошлись. Егор пошел провожать Маринку. Диана с Игорем перемыли посуду, убрали в комнате. Мария не отказывалась от их помощи, она немного устала.

— А у меня для тебя тоже есть подарок, — сказал Кирилл, когда они остались вдвоем.

— Правда? И что же это? Мне интересно!

— Ты хочешь меня увидеть?

— Конечно!

— Сделай, как я скажу. Возьми мою фотографию, маленькую. Теперь садись в кресло. Расслабься. Я рядом. Смотри на фотографию, прямо мне в глаза. Смотри, не отрываясь!

— Зачем это?

— Пожалуйста, молчи, ничего не спрашивай. Думай о том, что ты хочешь меня увидеть. Только об этом.

Минуты три-четыре Мария неотрывно смотрела на фотографию Кирилла.

— Теперь подойди к зеркалу. Закрой на минутку глаза. Что у тебя перед глазами?

— Твоя фотография.

— А сейчас открой глаза и посмотри в зеркало. Смотри себе в глаза! Смотри! Что ты видишь?

— Я вижу себя.

— Смотри внимательно! Внимательно! Что ты видишь?

— Как это может быть?

— Что ты видишь? Скажи!

— Я вижу тебя! Я вижу не себя, а тебя!

— Закрой глаза. Так. Теперь открой. А сейчас кого ты видишь?

— Тебя!

— Ура! Получилось! Получилось! Ты понимаешь, что это значит?

— Нет.

Мария явно была несколько испугана.

— Это значит, что теперь, когда ты захочешь меня видеть, нам надо будет подойти к зеркалу. На минутку тебе закрыть глаза. А когда ты их откроешь — увидишь меня. Понимаешь?

— Да! И как долго это будет продолжаться?

— Всегда! Это будет всегда. Потому что я всегда буду с тобой. Всегда!

— Всегда?! Ты, правда, всегда будешь со мной? И когда я буду совсем старенькой? Совсем-совсем?

— Всегда! И через пять лет, когда мы будем отмечать твоё шестидесятипятилетие, и через десять, и через двадцать лет!

Владимир ЭЙСНЕР

Родился в 1947 году.

Работает в госзаповеднике "Таймырский". Публиковался в окружной и краевой печати, альманахе "Полярное сияние". Лауреат литературного конкурса имени Огдо Аксеновой за 1998 год. Живет в Хатанге.

ПОД ЗНАКОМ ДУБИНКИ

Сказка

Поздним вечером мы с сыном возвращались с рыбалки. В рюкзаке у нас во-о-т такой чир, три пелядки и зеленая желтоглазая щука. Идти нам далеко, и на полдороге присели мы отдохнуть на корень лиственницы. В начале сентября ночи еще светлые на Таймыре, но крупные звезды, контуры созвездий хорошо различимы на небе.

— Папа, эта как называется звездочка, почти прямо у нас над головой?

— Это Капелла, альфа Возничего.

— А те четыре, такие лучистые?

— Ты их знаешь. Это сам «ковшик» Большой Медведицы. Если смотреть по двум крайним звездам вверх, то вот она, Полярная Звезда!

И я показал сыну еще много звезд и созвездий и объяснил, что сам знал и помнил. И вдруг он спросил:

— А кто все это сделал? И небо, и землю, и звезды, и вокруг? И что было тогда, в самый первый день?

Мне тоже когда-то было девять лет, поэтому я сказал:

— Пойдем-ка, парень, мама заждалась, а по дороге я тебе все и объясню.

Жил да был Главный Конструктор. Построил он себе Вселенную, да и жил там с женой и детьми. Я бы не сказал, что это была очень уж большая Вселенная — нет, обычная, средних размеров.

Когда выросли его сыновья, закончили Школу Небесных Архитекторов и обзавелись своими семьями, созвал он их всех вместе и сказал им так:

— Тесно нам стало в нашем Небесном Доме. Вот вам каждому по новенькой галактике, дикой и неизведанной, летите, обустраивайтесь, кто как может, я потом проверю!

И дал им сухарей и галет, и стущенки, и шоколаду, и юколы, и вяленой оленины, и голубики, и морошки, и всяческих других припасов. И еще дал каждому телефон, чтоб могли позвонить, если вдруг что, и спальный мешок, и Таблицу Менделеева.

— А это, па, что такое?

— Ну, это вроде как азбука такая. Там сто кубиков, из которых можно составить любой предмет в природе. Как твой конструктор. Куча железок. А кто понимает, построит и дом, и кран, и тележку.

— Значит, можно и дерево, и железо, и эту щуку?

— Да, сынок. Так что без Таблицы в неизведанной галактике никак нельзя, да и без спального мешка тоже не обойтись. В Космосе очень холодно, почти 300 градусов, не то что у нас на Таймыре — 40 или 50... В общем, уложили они рюкзаки и собрались в полет.

— На ракете?

— Нет, что ты! Столько шуму и грому, да еще того и гляди взорвешься! Нет, они просто так полетели, верхом на рюкзаках, как привыкли летать на охоту или рыбалку.

— А разве сыновья Главного Конструктора были охотники?

— Да, все первые люди на Таймыре, то есть, я хотел сказать, на Небе, были охотники и рыбаки и приносили донной мясо и рыбу, как и положено мужчинам. Но ты меня не перебивай так часто.

И одному из сыновей Главного Конструктора, по имени Орион, видишь во-он то созвездие, на поясе у него три звезды, а в руке дубинка, досталась в наследство галактика Млечный Путь, наш с тобой звездный дом.

Как только Орион с женой прилетели на место, сразу же позвонили отцу с матерью: все, мол, в порядке, нормально добрались. Затем Орион вынул из рюкзака две таблички. На одной написал «зенит» и прибил над головой. На другой написал «надир» и прибил под ногами. И сразу стало ясно, где верх, где низ.

Определившись таким образом в Пространстве, Орион, не мешкая, построил созвездие Печи, потому что без печки, сам знаешь, никак нельзя, а его жена, красавица Кассиопея, видишь, во-он она, почти в зените, немножко похожая на букву «М», потому что была первой мамой в нашей галактике, зачерпнула молока прямо из Млечного Пути, затворила блины и напекла свеженьких, горяченьких. Устали они в дороге и проголодались.

К печи Орион пристроил четыре стены, и получился дом! Когда дом был готов, Орион сделал созвездия Овна, Козерога и Стрельца. В созвездии Овна наловил он овец, в созвездии Козерога наловил коз. Кассиопея настригла с них шерсти и связала себе и мужу теплые одежды. Очень уж неудобно жить и работать в спальных мешках, хотя догадливый Орион и проделал в них дырки для рук, для ног...

Вскоре настал и торжественный день, когда Орион поймал в созвездии Тельца двух крепких быков, запряг их в плуг и вспахал поле. А поле засеял пшеницей. Мясо ведь даже охотникам приедается, а хлеб — никогда.

Так, в труде и хлопотах, прошел у них первый год. Орион покончил, наконец, с самыми неотложными делами и принялся обустраивать галактику. И создал созвездия Большой и Малой Медведицы, чтоб было на кого охотиться, и построил созвездие Рыб, чтоб было куда на рыбалку пойти, и соорудил созвездие Гончих Псов, чтоб помогли ему в охоте.

И еще сделал Дракона, Орла и Жирафа, Кита, Рака и Скорпиона и множество других созвездий, всего числом 88.

И так много было у Ориона работы в нашей галактике, так нравилось ему творить — стучать, лепить, клеить, приколачивать, что даже когда работал в ближних созвездиях, и то подолгу дома не задерживался.

Прилетит на обед, обнимет жену, пошвыркает щи — и опять за работу! А поскольку он очень любил свою жену, разумницу Кассиопею, и скучал без нее вдальеке, то в каждом созвездии сделал он двойную звезду, как память о жене, доме и семье. И теперешние астрономы, когда смотрят в свои телескопы на далекие звезды и замечают такую «двойняшку», сразу вспоминают молодожена Ориона и улыбаются в свои черные бороды...

И так был занят Орион, что и с сыном своим маленьким поиграть не успевал.

Чуть не забыл тебе сказать, что к тому времени родился у них с Кассиопеей сын и назвали они его Цефеем. Видишь, во-он то созвездие, возле самой Полярной Звезды? А родился Цефей в самый Новый Год, самого первого января, под созвездием Козерога, и родители очень рады были Новогоднему подарку и сообщили о том отцу с матерью, братьям и сестрам.

Орион сделал сыну серебряную колыбельку с золотыми колокольчиками, а Кассиопея, для защиты от враждебного Космического Излучения, соткала ему одеяльце из самого лучшего, самого чистого и самого теплого озона.

И расшила его цветами и травами, до-ре-ми-фа-соль-ля-си и закатными красками, свирепыми тиграми и добрыми овцами, грозными ураганами и нежными бризами и укрыла своего мальчика так, что торопыжка фа-диез оказался в головах, а толстячок си-бемоль — в ногах. Потому что мысли все спешат, рвутся вперед, а ноги бегают целый день и устают... Укрытый этим волшебным одеялком, мальчик с первых дней учился познавать двойственную суть вещей. Да, но я отвлекся...

Так, значит, отцу и поиграть некогда было с сыном. И вот однажды сказала Кассиопея Ориону:

— Ах, Орион, дорогой мой муж! Ты великий охотник и строитель! Делаешь ты Солнца, Звезды и Созвездия и даже построил Магеллановы Облака! А у сына твоего нет приличной игрушки... И правду говорят: «Сапожник без сапог ходит»!

Крякнул тут Орион с досады, а ничего не поделаешь — правда! В тот день вместо послеобеденного отдыха пошел он в чулан, достал с полки мешок с Таблицей Менделеева, отсыпал добрую горсть кубиков в ступку и хорошенько растолок. Толчет и приговаривает:

— Игрушку им подавай!.. Все игрушки мы в Школе Архитекторов еще на первом курсе проходили... А я вот сделаю такую штуковину, какой отродясь не бывало!

Толченку эту он покрепче посолил, добавил воды и скатал колобок. Пока колобок подсыхал, он взял обруч от старой бочки, очистил его от ржавчины, отшлифовал и сделал ровную блестящую орбиту. Закрутил колобок наподобие волчка, размахнулся и пустил его по орбите вокруг Солнца — вот сыночку игрушка, пусть догоняет!

Когда же он вечером вернулся с работы, то увидел такую картину: новая игрушка, а это была планета, как ты уже догадался, вся потресканная, вращается, лежа на боку. Северный Полюс у нее приплюснутый и даже орбита вся погнута и больше похожа на эллипс, чем на правильный круг.

— Это что же ты, парень, наделал, а? — строго спросил отец сына.

— Да, папа, я хотел посмотреть, что у нее внутри и почему она вертится, она же вдруг лопнула, треснула, плеснула кипятком и огнем и обожгла мне палец!

На пальце у малыша, и точно, вздулся большой белый волдырь.

— М-да-а... — только и мог сказать Орион.

Удивительное зрелище предстало отцу с сыном.

Из лопнувшей коры планеты вырывались облака пара, огонь и дым. Из всех трещин хлестал кипяток, вверх взлетали огромные камни, а в новеньких, с иголочки, тучах уже сновали блестящие молнии, и пробовал голос молоденький гром!

И Орион не стал ругать сына: он ведь и сам был немножко виноват. Спешил, плохо перемешал колобок, и вот из лишней воды образовались моря и океаны и затопили часть материков. Но оказалось, что это не так уж и плохо. Новая планета стала только красивее и разнообразней, а оттого, что теперь она вращалась, лежа на боку, на нее пришли времена года — занятная получилась игрушка!

— Вот ведь что делает случай, — подивился Орион, — сам бы так ни за что не придумал... Осталось чуть подправить, и будет серьезная вещь!

Он засучил рукава и взялся за работу. Первым делом дал планете шлепка по попке, чтобы приплюснутость стала равномерной. Затем залепил трещины, а огонь вывел наружу через жерла таких особых гор — вулканов, чтобы было красиво и чтобы мальчик больше не обжжется, играя. А чтобы вода в океане лучше перемешивалась и текла всегда свежая, сделал он четыре ветра: Северный, Восточный, Южный и Западный. И когда увидел, что все хорошо, достал из заветного мешочка Чудесные Семена и бросил их в остывающий океан.

И тотчас загудели шторма, заревели ураганы, бабахнул оглушительный гром и исполинские волны ударили в берега.

— Ой, папа, как страшно, я боюсь! — закричал Цефей.

— Не бойся, сынок! Ты смотри, смотри внимательно, что сейчас будет! — и Орион обнял сына и крепкой рукой прижал его к своему бедру.

И оба увидели чудо: из пены морской, из волны голубой выползла на берег Жизнь.

Была она совсем новенькая, зеленая-презеленая, но такая нежная и славная! Едва отползла от кромки морской и раскинулась на прибрежных утесах, как подогнулись ее слабые лапки, и без сил опустилась она на скалы. Мальчик первым догадался, в чем дело.

— Папа! — закричал он, — помоги скорее, папа, ей нечем дышать, она умирает!

Орион надул щеки и стал дуть: ффффф-ххх! И надул атмосферу столько кислорода, что до сих пор хватает!

Окрепла Жизнь, налилась силой, зацепилась корнями за песок и за гравий, из глины, из тины шагнула в долины и превратилась там в свежую, сочную молодую траву.

— Папочка, она кушать хочет, — сообразил Цефей.

И Орион сделал мягкий, вкусный, жирный чернозем постелил его Жизни под ноги. И пустил с гор чистую, све

жую пресную воду. Прошел час-другой, и по всей планете зашумели травы, кусты и деревья — от южных пустынь до границ Арктики, а в море заколыхались дивные водоросли.

И так увлеклись отец с сыном, что не заметили, как подошло время, как ты думаешь, чего?

— А мама, то есть Кассиопея, позвала их на ужин!

— Точно! Пора было ужинать. Но сначала они показали Кассиопее новую планету, и она долго любовалась ею и дала ей красивое имя «Земля».

Орион отложил на время свои полеты в дальние созвездия и стал обустраивать Землю. Как я уже сказал, он оставил планету вращаться, лежа на боку, и стал примерять на нее времена года. Лето, Осень и Зима оказались как раз впору, а вот Весна никак не подходит: где ни взмахнет Орион дубинкой, обязательно поломает то листочек, то цветочек, то веточку. «Что-то я не то делаю, — решил Орион, — надо будет еще раз посмотреть справочники...»

По всей планете сделал он низменности, возвышенности и горные хребты, моря и озера, проливы и заливы. Причем русла небольших рек делал просто острым камушком, а русла больших, медленных — пальцем. Проведет от горной вершины к морю дорожку — и готова река! Конечно, там, где твердые скалы попадались, приходилось иногда и концом дубинки процарапать, или даже охотничьим ножом, но так или иначе, вскоре рельеф планеты был вполне готов, и Орион решил наделать еще планет, чтобы наполнить Солнечную Систему и чтобы Земле не было скучно одной в Пространстве.

— погоди, папа, а разве Цефей не помогал Землю обустраивать!

— Конечно, помогал! Совсем забыл тебе сказать, что это ведь он сделал острова в океане. Наберет в карманы камешков да бросает в воду и считает, сколько раз подпрыгнут. Столько накидал, что через весь Тихий Океан можно на одной ножке проскакать! А там, где бросит горсточку или карман порвется, получается архипелаг: тоже неплохо!

Орион между тем соорудил еще девять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Фаэтон, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон, Нептун, а также спутники для них. Мальчишка и тут хотел помочь отцу и даже сделал оба спутника Марса, Фобос и Деймос, но из-за неумения они получились у него не круглыми, как положено спутникам, а корявыми да кривыми, как картофелины, и Орион запретил сыну баловать.

— Разве это спутники у тебя? Просто Страх и Ужас какой-то! Спутники делать — это тебе не камушки бросать! Тут физику надо знать и химию, математику и черчение. Химический состав определить, количество движения высчитать, орбиту вычертить, а не так, с бухты-барухты, — ворчал Орион, — иди-ка лучше в чулан, там, в углу стоят старые ржавые молнии, почисти-ка их да отполируй, чтоб блестели, как новые, — это работа для неучей, вроде тебя!

Мда-а... А вот для Земли сделал Орион совсем особенный спутник. Отковал в кузнице все 12 месяцев, от самого узкого серпика до полной луны, а когда заготовки остыли, он хватал их по одной клещами и кричал сыну:

— Крути ручку!

Цефей крутил ручку точила, и сыпались от заготовок искры: белые, синие, желтые, красные. И все месяцы получились ровные да блестящие, хоть куда!

— Ой, как здорово! — радовался Цефей. — Когда вырасту большой, тоже стану делать красивые луны, планеты и звезды!

Орион улыбнулся и ничего не сказал, но ему приятно были слова сына.

Но тут вышла на крыльцо Кассиопея и замахала своим мужчинам рукой: идите скорее, телеграмма пришла!

А это Главный Конструктор приглашал сыновей на совещание. И Орион помылся, побрился, погладил брюки, почистил ботинки, снял с галстука пылинку, сказал жене и сыну «до свидания» и полетел.

А когда Орион вернулся, а прилетел он тихо и незаметно, то долго сидел на лавочке у крыльца и задумчиво тербил свою кудрявую бороду.

— Что, детинушка, невесел, что головушку повесил? — участливо спросила его Кассиопея. — Не молчи, расскажи, какое задание получил.

— И что там интересного у дедушки? — добавил Цефей.

— Задание самое обыкновенное: объявил Старик конкурс на лучшую галактику, и тут, я думаю, мы в грязь лицом не ударим, все эти конкурсы я еще на втором курсе проходил. Огорчился же я вовсе не из-за этого — в пути неладное увидел...

— И что же увидел ты в пути? — в один голос спросили жена и сын.

— Да вот, когда летел я назад, то захотел хоть одним глазом посмотреть, как там братья устроились. Может, думаю, что-нибудь полезное почерпну для себя. Лечу, значит, смотрю. Галактики, как галактики. Какая белая, какая синяя, какая желтая. А какая и вовсе сине-бело-желтая! Всяк по-своему устроил свой дом. Но вот, когда пролетел я мимо созвездия Лебеда, что я там увидел, что увидел... — Орион закачал головой и закрыл лицо руками.

— И что же там было? — встревоженно спросили жена и сын.

— А то, что братья тамошние не захотели жить врозь, собрались вместе, и получилось Скопление галактик. Но это бы еще ничего — пусть живут вместе! Хуже, что они пьют вино и веселятся не в меру, а про работу забыли... И такие же легкомысленные стали их галактики. Одна боком висит в Пространстве, другая скоком, третья вообще вверх тормашками! Иные из спиральных сделались шаровыми, а менять убеждения на таком уровне нехорошо... А иные и вовсе перепутались между собой, не поймешь, где правая, где левая... От страшной тяжести прогнулось в этом месте Пространство, и Закон Всемирного Тяготения натянулся, как струна, того и гляди, лопнет... А враждебное Космическое Излучение не дремлет, его передовые лучи уже появились в окрестностях. Нельзя так жить... Не понравится это Старика, ох, не понравится...

— Не бери дурное в голову, — успокоила Ориона Кассиопея, — ведь Главный Конструктор, Великий Небесный Архитектор, все видит, все знает, и уж, наверное, успеет принять меры вовремя. Давай-ка лучше думать, как сделать

наш дом самым прочным, самым удобным и самым красивым во Вселенной.

— Да я тут уже прикинул схемку, — успокоившись, сказал Орион, — созвездия у нас пустоваты, — контур из ярких звезд и все, — а надо бы еще наделать побольше маленьких звездочек, чтобы увеличить звездное население, а то очень уж пусто в Млечном Пути...

Только если ты, сынок, думаешь, что сделать созвездие сложнее, чем звезду, то ошибаешься.

С созвездиями ведь просто. Орион их быстро делал. Нарисует звездной краской на синей небесной бумаге, вырежет ножницами по контуру и приколотит к небосводу алмазными гвоздиками.

А одну крохотную звездочку как приколотить? Ее и пальцами-то трудно ухватить: того и гляди обожжешься или лучи поломаешь. Кому она нужна будет потом, однобокая такая звезда? И гвозди все крохотульки — попробуй, попади по ним дубинкой!

— Папа, а что же это он? Сам такой соображучий, а сам не мог себе молоток придумать, или даже совсем ма-аленький такой молоточек, как у тебя в инструментах?

— М-м-м... Видишь ли, великие люди тоже не всегда все сообразят вовремя... А потом, он ведь уже нарисован на небе с дубинкой, значит, ему молоток нельзя! Короче, мучился, мучился Орион, а под вечер случилось несчастье: стукнул себя по пальцу дубинкой, да так, что ноготь враз почернел.

— Уй-ю-юй! — вскричал Орион и сунул палец в рот, а дубинку-то выпустил! Упала она прямо на новенькую планету Фазтон и расколола ее на астероиды, отскочила и дальше полетела! Так и летает до сих пор в Пространстве и если стукнет по какой планете — пиши пропало! А если по звезде — вспыхивает Сверхновая!

Когда палец немножко зажил, попытался Орион звезды приклеивать — тоже не сахар! Иная капля клея больше самой звезды! И то сказать, снизу или сбоку небосвода еще ничего, можно клеить, а вот сверху — сущие мучения! Клей капает вниз, за ворот, прожигает бороду, рубашку и штаны и разлетается по всему Мирозданию, превращаясь в кометы, метеоры и метеориты.

Видит Орион, что дело не идет, сел опять на лавочку и крепко задумался.

— Папа, — сказал ему тогда Цефей, — не грусти, папа, вспомни лучше, как мы те двенадцать месяцев делали, как их на точиле обтачивали, чтобы были круглые да блестящие.

— Помню, сынок.

— А помнишь, какие красивые искры от точила! И красные, и белые, и желтые, и синие!

— Конечно, помню!

— Тебе все равно новую дубинку делать. Вот как станешь ее обтачивать — пусть те искры и будут звезды! И красные, и белые, и желтые, и синие! Они такие горячие и так быстро летят, что где врежутся в небосвод, там и прилипнут, и прибывать не надо!

«Гениальный ребенок!» — подумал Орион, но вслух сказал только:

— Молодец, малыш!

И сразу принялся за дело.

Отковал он себе новую дубинку и, когда обтачивал, направлял струю искр на то или иное созвездие. Искры дружно вылетали, веселые и разноцветные, и крепко припаивались к небосводу. Таким образом Орион без особых усилий за какую-то неделю увеличил звездное население галактики в миллион тысяч пятьсот двадцать девять с половиной раз!

И небо Млечного Пути стало таким, каким мы его видим сейчас!

Прошло сколько-то времени, и вот однажды Цефей проснулся с необыкновенно радостным настроением. Повел носом: матушка блины печет!

— А что, мама, разве у нас праздник сегодня?

— А разве блины только по праздникам пекут?

— А все же почему у меня такое настроение прыгучее?

— Праздник, сыночек! Телеграмма пришла от дедушки: летит в гости!

Едва Цефей успел позавтракать и привести себя в порядок, как на востоке появилось ослепительное сияние. Из того сияния вынырнул ковер-самолет, а на нем был сам Главный Конструктор со всей своей свитой. Был он немножко похож на Деда Мороза. Такой же высокий, статный, с белой бородкой и пушистыми усами. А в руке у него был большой чемодан.

«Наверное, подарки», — подумал Цефей и не ошибся.

Правда, сначала он робел и прятался за мамину спинку, но потом храбро выступил вперед и хлопнул своей рукой по крепкой дедушкиной ладони:

— Здравствуй, дедушка, я давно тебя ждал!

— Здравствуй, внучек, и я давно хотел тебя видеть!

И Главный Конструктор обнял внука, расцеловал, поднял на руки, высоко подбросил вверх, поймал и бережно поставил рядом с собой.

А потом стал раздавать подарки. И сначала сделал подарки Кассиопее, потому что женщинам дарят в первую очередь, и подарил ей оренбургский пуховый платок и теплые домашние тапочки. И вязальные спицы, которые сами вяжут, сказать только, что. И еще подарил полуволшебную электрическую печку: включишь в розетку — сама варит! И еще подарил полуволшебную пылесосительную машинку: включишь в розетку — сама пыль собирает и все чисто делает!

Кассиопея очень обрадовалась, зарделась вся и сказала:

— Спасибо, папа!

И Главный Конструктор сделал Ориону подарок, о котором мечтает всякий мужчина: набор инструментов для работы и стройки. И чего только там не было! И всякие там ключи-ключики, шипцы и шипчики, отвертки и отверточки, зубила и зубильца, тиски и тисочки, дрели и сверлышки.

А не было там молотков. Ну, ни одного! А только разные по величине и весу дубинки — от самой большой дубинищи до самой малой дубинушки. И каждая лежала в своем гнезде, и на каждой был написан ее размер и вес, когда и для чего применять!

И Орион тоже очень обрадовался и сказал:

— Спасибо, папа!

И тогда Главный Конструктор подошел к Цефею и положил ему на руки большую разноцветную коробку с яркими картинками на крышке. Цефей быстро открыл коробку и застыл разочарованным: кроме тяжелых разноцветных брусочков, там ничего не было.

— Ах, дедушка! У меня уже есть такой пластилин, мы с мамой зверушек лепили.

И чуть не заплакал.

— А это, внучек, не пластилин, а самая настоящая глина — материал благородный! Глиняные игрушки оживают, стоит на них подуть! Вот смотри! На глазах у ребенка Главный Конструктор слепил двух птичек, голубя и голубку, посадил их на свою широкую ладонь и слегка на них подул.

И комочки глины превратились вдруг в белых голубей, заворковали, заговорили друг с другом, поклонились Главному Конструктору и взлетели высоко в небо.

Тут Орион не выдержал, сунул два пальца в рот, да как засвистит! Закувыркались, закружились в синем небе белые голуби, Кассиопея и Главный Конструктор заулыбались, а мальчик рассмеялся.

— Эх! Когда мы были детьми, и любили же мы, все братья, голубей погонять, особенно, когда ты, папа, на работу уйдешь, а мама в гостях у соседей. Вот тут нам раздолье, — вспомнил Орион.

— Так-так! А грядки частенько оставались не прополотые, картошка не окучена, а двор не метен! Знал я, знал, что вы без меня балуете, да только все прощал вам, озорникам, — проворчал Главный Конструктор.

— Дедушка, дедушка, а можно, я тоже сделаю такую птичку? — от нетерпения Цефей даже подпрыгивал на месте.

— Конечно, ведь это твоя глина. Вот и картинки. Смотри да лепи. Только, скажу, сразу не получится. Сначала надо выучить науку Биологию, да еще потренироваться на пластилине.

— Некогда мне учиться-тренироваться, — отмахнулся Цефей, — я уже острова делал, и ручку крутил, и везде помогаю, и папа меня хвалит, я соображучий!

И он быстро, как попало, слепил птичку, всего одну, и стал на нее дуть, но та не шевелилась.

— А почему она никак не оживает, ведь я дую изо всех сил?

— Потому что нет в твоём дыхании Силы и Крепости. Вот как вырастешь большой и станешь, как папа, и появятся в тебе Мужская Сила и Мужская Крепость, тогда станут оживать дела рук твоих, стоит тебе захотеть.

— А если ты, дедушка, подуешь на мою птичку — оживет!

— Оживет!

— Так подуй!

— Не стану!

— Почему?

— А зачем ты только одну птичку сделал? Одиноко и тоскливо ей будет под солнцем, а так нельзя! Видишь, я сразу двух сделал: мужа и жену. Так и ты.

Цефей быстро сделал еще одного голубя и посадил его дедушке на ладонь. Главный Конструктор подул на птичек,

и они ожили, но это были вовсе не голуби, а серые вороны! Каркнули они резким голосом и, не поклонившись, не поблагодарив, полетели в лес, строить себе гнездо.

— Теперь видишь, внучек, что получается у неучей?

— Я стану учиться, дедушка, и сделаю много-много зверей и птиц, и никто не будет на меня в обиде! Спасибо, дедушка! — и Цефей крепко прижал к себе драгоценную коробку.

— Пожалуйста! А теперь пора за дело!

С этими словами Главный Конструктор вынул из кармана шелковую нитку и измерил кривизну Пространства. Затем достал секундомер, весы и складной метр и давай все обмеривать-обсчитывать!

И первым делом проверил скорость света, формулу Эйнштейна и заряд электрона. И проверил универсальную газовую постоянную, постоянную тяготения, постоянную Больцмана и постоянную Планка. И даже такую непостоянную постоянную Хаббла. И проверил все константы Вселенной. И нашел, что все сделано не только красиво, но и прочно.

Цефей все время крепко держался за дедушкин мизинец. И хотя чувствовал, что немного мешает деду, но знал и другое: дедушке так же нужна его маленькая рука, как и ему большой грубый дедушкин палец...

Да-а... Так, значит, Главный Конструктор все измерял и записывал в свой блокнот и все весьма внимательно осматривал.

— Что это у тебя за дырка в небе? — вдруг спросил он у Ориона.

— Нету, папа, никаких дырок, — обиделся Орион. — Все небо плотно закрыто.

— Так, та-ак... А сколько у тебя по каталогу созвездий?

— Восемьдесят восемь!

— А на самом деле восемьдесят семь!

Орион быстренько пересчитал созвездия и обомлел: созвездие Тукана на месте, Южный Крест на месте, Магеллановы Облака на месте, а созвездия Золотой Рыбы — как и не бывало! А что если враждебное Космическое Излучение уже заметило эту черную дыру в небе и направило свои злые лучи сюда?

И Орион тут же сделал и приколотил к небосводу созвездие Золотой Рыбы. И уплотнил его колоссальной газовой туманностью, а на страже поставил огромную, необычайную звезду Эс. Теперь ни за что не сунутся сюда злые лучи!

Вот, сынок, из этого созвездия, с неба и пришла потом в сказки, игрушки и женские украшения Золотая Рыбка...

— А почему у тебя вместо пятой планеты какие-то дребезги летают? — опять удивился Главный Конструктор.

— Дубинку обронил, — отвечал, потупясь, Орион.

— А почему у тебя повсюду такая строгая, такая идеальная симметрия, что аж противно?

— Как учили... Все должно быть ровненько-аккуратненько, по ниточке-линеечке, левая половина обязательно должна быть равна правой и даже тютелька должна входить в тютельку так плотно, что комар носа не просунет!

— Э, нет, так не годится! Я всегда был враг всякого однообразия и всякой серой одинаковости, — сказал Главный и взмахнул рукой.

И тотчас чуть-чуть, самую малость, изменилась симметрия этого мира, и Млечный Путь сразу стал приятней для глаза, для уха и удобней на ощупь.

Тут Цефей улучил момент, дернул Ориона за рукав и тихо спросил:

— Что ты ему все «папа» да «папа»: это же дедушка!

— Это для тебя — дедушка, а для меня — папа! И вообще, отстань пока: видишь, Старик не в духе!

Цефей так и не понял, почему его простой и понятный дедушка еще и папа для его собственного папы? Думал, думал, аж голова разболелась, и решил, что потом спросит у мамы...

А Главный Конструктор все не унимался:

— Что-то не вижу ни одного исключения из правил...

— Так и должно быть, иначе — неразбериха и хаос!

— И чему только учат нынешнюю молодежь! Неужели ты и воду на этой планете сделал правильной?

— Абсолютно правильной, па. Как и все тела в галактике, она расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении.

— А вас учили в Школе Архитекторов смотреть в Будущее?

— Все будущие времена мы еще на четвертом курсе проходили, у меня, помнится, даже пятерка была, — не без гордости отвечал Орион.

— Значит, ты знаешь, что я не просто так подарил внуку волшебную глину, и что скоро он с нашей помощью делает не только множество зверей и птиц, но и морских животных?

— Предвижу, папа.

— А вода-то нормальная! И станет она зимой замерзать, и станет лед тяжелее воды и будет без конца замерзать и опускаться на дно, и вымерзнут все моря и океаны и с ними все морские животные и все, кто ими питается!

— Вот это мы не проходили! Как же быть? — почесал затылок Орион.

— Надо ж и своей головой думать! Сделай воду исключением из правил. Пусть она хоть немножко да расширяется при охлаждении. И станет лед легче воды и будет плавать сверху, а подо льдом спасутся от мороза все морские животные, рыбы и моллюски и проживут до новой весны.

— Да будет так, — сказал Орион.

И взял молекулу воды и слегка раздвинул в ней атомы кислорода и водорода относительно друг друга. И с тех пор вода стала «ненормальной»: при охлаждении она расширяется, превращается в лед, а лед укрывает собой все живое до новой весны.

Но Главный Конструктор все не унимался:

— А что это твоя планета, да и вся Галактика такие беспринципные? — опять спросил он у сына.

— Что еще за принципы такие? — обескураженно отвечал Орион, — законы и то все не упомянешь, а тут еще принципы подавай!

— Ах, сыночек! Вселенная без принципов, что дом без крыши! Мы ведь с тобой знаем, что в будущем на Земле бу-

дут жить люди, вот давай и вложим в галактику вселенский Принцип Антропности, чтобы людям было удобно жить на такой планете, в такой галактике и в такой Вселенной.

И он вынул из своего чемодана коробку с принципами. А из той коробки тихонько, двумя пальцами, — принципы требуют осторожного обращения, — извлек Принцип Антропности, отделил его от других, тоже неплохих, принципов, выпрямил, заострил, размахнулся и бросил его в Пространство. Да так ловко, что Принцип Антропности проткнул и Землю, и Солнечную Систему, все звезды и созвездия, и весь Млечный Путь, и даже вышел на добрых полтора метра с той стороны!

— Вот и чудненько! — порадовался Главный Конструктор и закрыл свой чемодан. — А теперь мне пора! Еще много у меня дел у других сыновей, а ваша галактика ничем не хуже и не лучше других, к конкурсу она допускается, окончательный же итог подведем после, через семь лет, когда я прилечу вновь.

И он распрощался с невесткой и сыном, а внуку сунул в карман шоколадку, сел на ковер-самолет и растворился в небесном сиянии.

— Папа, научи меня науке Биологии, покажи, как правильно делать зверей и птиц, как определить силу и способности каждого и каждому назначить свое питание и свой дом. Я хочу, чтобы наша галактика была самой лучшей, самой разнообразной и красивой, — попросил Цефей.

И Орион показал сыну, и научил его, а сам пошел и сделал себе кисточку из хвоста Козерога. И обмакнул ее в Восход, и в Закат, и в синюю звезду Бетельгейзе. Хорошенько растер краски, привстал на цыпочки и провел по небосводу широкую полосу, разноцветную и веселую. Дождевые капли упали на краски, и засияла в небе великолепная Радуга!

— Вот это да! Какой ты, папа, большой мастер! — воскликнул Цефей.

— Макай кисти в Радугу и крась своих зверушек, в какой цвет тебе нравится. Это живые краски, они не линяют, не выцветают и не тускнеют со временем.

Вот так и появились на нашей Земле обитатели ее вод и лесов, птицы и насекомые.

Большой это был труд. Сын делал тех, кто поменьше, а отец — тех, кто побольше: тигров, бизонов, слонов и буйволов, акул и китов. Кассиопея раскрашивала их красками Радуги.

На это ушло у них семь лет. Так что когда Главный Конструктор прилетел во второй раз, он с трудом узнал внука: так вырос и возмужал, стал крепким и сильным.

— Ба! Внушек! Да ты уже настоящий мужчина! И голос совсем как у отца... Науки-то изучаешь?

— Изучаю, дедушка, хочу поступить в Школу Небесных Архитекторов, — смущенно ответил Цефей.

Планета Земля тоже изменилась неузнаваемо: в рошах пели и гнездились птицы, в лесах жили всякие звери, в воздухе гудели шмели и пчелы, собирающие мед.

Главный Конструктор опять стал все обмеривать, просчитывать и на этот раз остался доволен. Но больше всего поразился он Радуге.

— Великолепное изобретение! Нигде во Вселенной нет такой веселой дождевой дуги! Ты у меня прямо гениальный ребенок, Орион!

— Спасибо, папа, на добром слове, — отвечал Орион, — только объясни, пожалуйста, почему весна у меня никак не получается? Не красивая она, не буйная, не веселая, и цветы не хотят распускаться, и небо не хочет голубеть! Хотя я вместо тяжелых зимних отковал для Земли легкие весенние одежды от экватора до полюса, а все равно не то! И ни один справочник не объясняет причину...

— А чем ты шил весеннюю одежду для Земли?

— Да я это... ковал...

— Ну, разве ж можно по весне дубинкой? — огорчился Главный Конструктор. — Вот и получились у тебя тяжелые латы вместо легких, радостных одежд. Но это еще полбеды, я вижу, ты забыл самое существенное... Давай, сынок, это тонкое дело передадим женщине, у нее лучше получится.

И Главный Конструктор отозвал Кассиопею в сторонку, о чем-то с ней пошептался и передал ей небольшой плотный пакетик.

И Кассиопея пошла, взяла свое рукоделье и сшила для Земли весеннюю одежду, краше которой нет на свете. Когда платье было готово, она раскрасила вышивку живыми красками, осыпала ее алмазной пылью и бросила на узоры из того пакетика Семена Любви.

И стала Земля такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Все Мужское потянулось к Женскому, а все Женское к Мужскому. Распахнулось небо и стало синим-пресиним, залопотали ручьи по тяжелым осевшим снегам, лопнули почки на березах, запел песни для своей жены Соловушка и драчливый краснобровый Терев полетел искать себе противника в темный бор.

Долго любовались все четверо первой на Земле весной, наконец, Орион сказал:

— Теперь, когда здесь все готово, мы хотели бы попробовать свои силы в какой-нибудь другой галактике, пусть даже дикой и неизведанной, с тем чтобы вывести ее в передовые!

— Таковы слова радуют меня, старика! Есть, есть у меня на примете одна совсем дикая брыкастая галактика в созвездии Андромеды. И даже не так далеко отсюда, всего в двух миллионах световых лет. Так что гигантская спиральная галактика и все четыре ее спутника ждут отважных строителей!

— Это как раз то, что нам нужно, — ответил Орион. — Но ведь Землю так, совсем без присмотра, не оставишь. Мы ждали тебя, чтобы вместе сделать Человека, существо разумное и способное к творчеству, тогда я был бы спокоен за судьбу своего детища.

— Так что ж, приступим! — не любил Главный Конструктор лишних разговоров.

И стали они лепить из глины людей, высушивать фигурки на солнце и складывать их в большие корзины.

И Главный Конструктор — враг всякого однообразия — брал разную глину: белую, черную, желтую, красную и в каждую фигурку вложил три способности: разум, волю и творчество. Готовые надо было еще обжечь, чтобы был у Человека запас прочности. Для этого приспособил Глав-

ный Конструктор вулкан Попокатепетль. Цефей носил туда, через море, корзины и загружал вулкан через верх. А через сутки вынимал фигурки, сдувал с них пыль, укладывал в корзины и приносил обратно. И скоро это ему надоело.

— Ох, и далеко же бегать до этого Попки, да и штормит частенько на море, — сказал он дедушке, — нельзя ли обжигать прямо здесь, на Килимашке, или хотя бы в Европе, на Везушке?

— Как ты сказал? — рассердился Главный Конструктор.

— Попка я сказал, Килимашка и Везушка, — тихо ответил Цефей.

Никогда еще не видел он деда во гневе.

— Нельзя так обращаться с вулканами, они — мужчины серьезные и не любят фамильярностей, а любят, когда их по имени-отчеству называют: Попокатепетль Американыч, Везувий Европеич или Килиманджаро Африканыч! Так и поступай, а то еще рассердятся, а нам это вовсе ни к чему!

Когда все фигурки были готовы, Кассиопея обмакнула кисточку в Радугу и раскрасила им лица. И, как того пожелал Главный Конструктор — враг всякого однообразия, нарисовала им разные лица: глаза, брови, ресницы и губы, чтобы интересно было им смотреть друг на друга, жить и работать вместе.

И тогда выстроили все фигурки в ряд у подножия великого Килиманджаро Африканыча, и Главный Конструктор подул на них, и фигурки ожили, и стали людьми, и расселились по всей планете от знойной Африки до северных пустынь.

— Все хорошо, — сказал тогда Орион. — Но как нам защитить их от враждебного Космического Излучения? Ведь они, несмышлениши, даже не знают, что оно существует, и не могут никак противостоять ему. Действие же лучей таково, что если попадают они в сердце, исчезает в нем радость, и становится оно завистливым, злым и жестоким, а если проникают в голову — исчезает в ней способность к творчеству.

— А мы вот как сделаем, — предложила Кассиопея. — Цефей, можно я возьму твое детское одеялко для Земли?

— Пожалуйста, мама, только оно вряд ли сойдется.

— А вот, смотрите! — Кассиопея сняла с кровати озоновое одеяло, стряхнула с него крошки (Цефей, негодник этакий, имел привычку читать перед сном детективы и грызть при этом печенье), накинула одеялко на Землю и зашипнула с обеих сторон, как пельмень.

Ударились враждебные Лучи об одеялко и отскочили, как стрелы от щита воина, отлетели от экватора до самых полюсов и превратились там в Северное и Южное Полярные Сияния.

И Кассиопея покрасила эти потерявшие злую силу лучи. И стали они зеленые, как трава, красные, как кровь, и белые, как молоко.

Подивился такому чуду сам Главный Конструктор и сказал:

— Много во Вселенной галактик, еще больше — планетных систем, но нигде нет такой дивной галактики, как Млечный Путь, и такой замечательной планеты, как Земля!

По праву присуждаю вам первое место на конкурсе и премию в виде бесплатной экскурсии по всему Мирозданию!!! Скоро мы улетим отсюда и возьмем с собою многие необходимые нам в дороге чудеса. Но три чуда я властью своей навсегда оставляю на Земле: разумные существа, «ненормальную воду» и озоновое одеялко!

— Папа, — попросила тогда Кассиопея, — пожалуйста, оставь еще людям Радугу. Пусть художники берут из нее краски, пусть, когда встанет над миром это цветное чудо, улыбнутся все добрые люди, засмеются ребятишки и разглядятся лица злодеев.

— Да будет так! — решил Главный Конструктор.

Тут Цефей снова дернул отца за рукав и тихо спросил:

— Пап, а кто такие «злодеи»?

— Это те, кому вредные Лучи попали сразу и в голову, и в сердце, — печально ответил Орион.

— Так я скажу дедушке, и он своей властью зашвырнет эти лучи подальше!

— Не зашвырнет...

— Почему?

— Потому что они — часть Вселенной и такое же его творение, как и все Мироздание...

Цефей так и не понял, почему его простой и понятный дедушка, сотворивший блистающую Вселенную, одновременно сотворил и плохие Лучи. Думал-думал, аж голова разболелась, и решил, что лучше потом спросит у мамы.

Но вот настала им пора улетать. И когда поднялись высоко в Пространство, Главный Конструктор остановил ковер-самолет, чтобы бросить прощальный взгляд на полюбившуюся ему Землю. Все четверо не могли оторвать глаз от прекрасной планеты. В голубом сиянии, как хрустальный шар среди звезд! Подумать только, что это была горсточка пыли в ступке Ориона!

— Папа, они там поют, — заволновался Цефей.

— Где «там»? — не понял Орион.

— Там, внизу, на Земле!

Все прислушались — и точно! Снизу едва слышно доносилось: «Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, сама пойдет...»

Орион быстро схватил бинокль.

...На высокой плоской горе люди забивали сваи. Огромная дубинка, привязанная за тонкий конец веревкой, перекинутой через блок, медленно ползла вверх под звуки «Дубинушки». Затем веревку враз отпускали, дубинка, падая, ударяла по свае, загоняя ее в грунт, и все повторялось сначала...

— Храм строят, — довольный, сообщил Орион, — работяги, в меня пошли. Эти будут настоящими хозяевами на Земле!

— Храм-то храм, — проворчал Главный Конструктор, — только как бы они потом эту дубинку на алтарь не поставили да молиться на нее не начали!

— Ну, что ты, папа, они же разумные люди!

— Разум тоже надо правильно использовать... Ну, да ладно, потом прилетим, посмотрим, — все же чем-то был Главный Конструктор недоволен.

— Так сколько, ты говоришь, лет до этой самой Андромеды?

Главный Конструктор улыбнулся и включил скорость. Минута — и ковер-самолет растворился в небесном сиянии.

— А вот и окошко наше! Беги, обрадуй маму, шука-то, наверное, еще живая!

Мальчишка убежал, а я еще долго стоял на крыльце. Орион, могучий небесный охотник, уже до пояса поднялся из-за горизонта, высоко в небо взметнув свою палицу.

...Люди и впрямь оказались сообразительным племенем. Очень скоро они поняли, что с помощью большой дубинки можно не только сваи забивать, но и делать политику, разбивать черепа себе подобным и творить прочие непотребства, да еще кивать при этом на небо: не сами, мол, придумали, оттуда взято, забывая, что Небесный Охотник никогда не употреблял своего орудия во зло...

...В небе полыхало сияние. Его зеленую ленту то и дело пронизывали огненные капли Орионова клея. А где-то там еще летает его дубинка. Та, первая. То там стукнет, то сям трахнет! Как бы на Землю не упала... Впрочем, Главный Конструктор, наверное, успеет перехватить ее своей мощной дланью...

Сквозь шель занавески видна часть кухни с полуволшебной плиткой. Включишь в розетку — сама варит! У плиты стоит Кассиопея. То есть, я хотел сказать, наша хозяйка, жена и мать, и с серьезным видом слушает сына, который что-то возбужденно рассказывает и все разводит руками в стороны. Одна шука у нас, и правда, сорвалась, но та, помнится, была поменьше...

Юрий ГРАДИНАРОВ

Родился в Донбассе. С 1961 года живет на Таймыре. Автор сборников рассказов «Аргиш в Париж», «Шаман Демниме», повести «По собственному желанию».

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ*

Повесть

29

После теплой кемеровской осени попасть сразу в снежный край было для Любочки и ее детей чем-то невероятным.

— Как в сказке! Три часа лету — и мы в зиме, — говорила Любочка детям, спускаясь по трапу с самолета. — Смотрите, сколько снегу! Не холодно? Папа нас должен встречать.

У выхода с летного поля их встречал Николай Васильевич, уже по-зимнему одетый и с непривычной улыбкой на похудевшем лице.

— Ну как летели? Нормально? Как вам самолет? Не испугались?

— Летели хорошо. Ни минуты задержки. Ни в Кемерово, ни в Красноярске. Детей не тошнило. Сразу уснули в креслах. А ты тут как освоился?

— Я — в порядке. Ты же знаешь, живу у Галины. Теперь обещают нам дать двухкомнатную времянку из подменного фонда. Я уже смотрел. В этом доме магазин «Бускан». Правда, клопов в квартире уйма. Ирина-то когда думает? Ее уже ждут.

— Вероятней всего, в январе. С февраля хочет детей набрать. Город-то как?

— Город маленький. Все друг друга знают. Гостеприимные люди. Северяне есть северяне. Мне работы по уши. Баянистов не хватает.

— А с этим как? — показала Любочка условный жест выпивох.

— Было немного. Но печень заныла. Тормознул.

— По крайней мере кое-кто уже знает, чем ты страдаешь?

— Знает, кому надо знать. Но запоя не было.

— Ты бы продержался хоть до моего приезда. А так посмотрят, что ты за птица, и скажут: катись, откуда прибыл. Детей жалко катать туда-сюда. Из одной школы в другую.

— Да не бойся, не выгонят, коль по квартире решают. Правда, квартиру-то тебе дадут — не мне. Ты для них ценный работник, а не я. Хотят, вроде, тебя ставить директором городского Дома культуры.

— Посмотрим, что предложат. Но пить прекращай, если думаешь здесь осесть надолго.

Они вошли в аэровокзал, нашли свободные места на втором этаже и стали ждать электричку.

— Антон и Алена! Туалеты внизу. Захотите — провожу, — предложил им услугу отец.

— Николай, а контейнер подошел?

— Подошел, но с судна еще не сняли. Говорят, дня через три. Сначала поживем у Галины, а контейнер получим, сразу перейдем в тот клоповник. Там будем жить, пока не дадут квартиру. Школа недалеко, продуктовый прямо в этом доме.

Через день, отдохнувши с дороги, Любочка пришла на беседу к заведующему отделом культуры округа Ивану Юрьевичу. Она была в темнокоричневом вязаном костюме, в сапожках с короткими голяшками. На голове стрижка «под мальчика», а в ушах колечки серебряных сережек. Бледное лицо выражало тревогу и, несмотря на отдых, усталость.

Мужчина сидел в кресле, чуть развалившись и положив на стол волосатые руки. Его небольшие голубые глаза слегка ошупывали Любочку, а губы растянулись в ехидной улыбке.

Он привстал со стула, приветствуя женщину.

— Здравствуйте! Проходите, садитесь! Значит, вы Любовь Дмитриевна Заречнева. Как устроились с ночлегом? Галина мне уже кое о чем доложила.

Любочка села и в душе удивилась непохожести своего будущего начальника с тем, каким она представляла его по рассказам заочниц Галины и Татьяны.

«Чем-то напоминает дядю Жору — гинеколога. Помоему, волосатыми руками, — успела она оценить Ивана Юрьевича во время очередной паузы в разговоре. — А может, и душой такой же нежный, как врач».

Дальше говорили об институте, о подготовке специалистов, о скором приезде хореографа Ирины Николаевны, о ее собственной работе.

Заведующий отделом в беседе ненавязчиво проверял, как ориентируется она в вопросах управленческой и клубной работы.

«Что-то есть в ней, — думал Иван Юрьевич, глядя на ее чуть мешковатый костюм. — Энергии у нее с избытком, а вот практики, чувствуется, маловато. Есть, правда, в ее натуре многое от «женщины от кухни». Видно, что работа в институте дала ей серьезную базу для общения с людьми разных уровней».

— Ну, это хорошо! В профессиональном плане ты нас устраиваешь, а вот в семейном плане... Что же мужа так распустила? Пьет он, и довольно изрядно, даже по нашим северным понятиям. У нас такие тоже есть. Способные ребята, но пьющие. Дак как будем работать с мужем?

Любочка покраснела от упреков и от обиды, что ее собеседник, знающий ее не более двадцати минут, уже перешел «на ты». Она не привыкла к такому обращению. Ведь в институте ее называли по имени-отчеству и строго «на вы». Она недовольно ответила:

— А что я сделаю? Уже и лечила, и ругала, и разводилась, а проку нет. Держится месяц-второй, а потом — запой на неделю. Вся семья себе места не находит.

— Так ты сибирячка?

Любочка отрицательно мотнула головой.

— Родилась на Украине, в Черкасской области...

* Продолжение. Начало в альманахе «Полярное сияние» — 96, 97, 98.

— У меня мама родом оттуда, — перебил ее Иван Юрьевич.

— ...но большую часть жизни провела на Белгородчине: Губкин, Новый, Старый Оскол. Это уже когда осели родители. А так, в детстве, где только ни пришлось побывать: и Казахстан, и Сибирь, и Украина, а уж центральная Россия почти вся мною обжита.

— Знаю, знаю Белгородчину. Учился когда-то в Воронеже. Так надолго вы к нам? От нас дальше некуда. Разве что на Северный полюс.

— Настрой есть надолго. Но как сложатся обстоятельства? Дети должны здесь закончить школу. Поступить учиться дальше. Как будут дела с квартирой? Как муж будет себя вести? По крайней мере, на меня можете рассчитывать.

— Я могу предложить должность директора городского Дома культуры. Должность ключевая, номенклатурная. Утверждаемая бюро горкома партии. Здесь есть шанс быстрее получить квартиру. Ноша эта тяжелая. Директора уходят один за одним. Не тянут. Работа с населением в загоне. Сейчас там у нас Вера Филипповна, кстати, тоже кемеровчанка. Поговорить любит, а работы нет. Сигарета в зубах да бутылка на уме. Ни уюта в ДК, ни самостоятельности. Не хотелось бы мне тебя губить в этом омуте, но вынужден рекомендовать. Может, ты изменишь лицо Дома культуры к лучшему.

— Спасибо за доверие. Я попробую. С вашей помощью. Не получится, извините.

— Должно получиться. Хватка у тебя, чувствуется, есть да и смелость на лице появляется. А это в нашем деле то, что надо. К кадрам присмотришься сама. С бездельниками прощайся — поддержи, с творцами — твори. С завтрашнего дня. Желаю удачи!

Иван Юрьевич встал из-за стола и тепло пожал ей руку.

— Надеюсь, мы с тобой сработаемся. И, чувствую, не на один годок. Трудно будет — заходи, помогу.

Любочка почувствовала в конце разговора, как ее возникшая вначале неприязнь к этому человеку меняется на доброжелательность и доверие.

— Я буду стараться вас не подвести.

И она вышла из кабинета. В инспекторской ее ждали Галина и Татьяна.

— Ну как, договорились? На директора ДК, да?

— Договорились. Но я, наверное, не показалась. Заметила в его глазах сомнение. Но потом он, кажется, начал верить в меня.

И они втроем ушли к Галине на вечерний чай.

30

Николай Васильевич работал концертмейстером в народном ансамбле песни и танца и ждал приезда Ирины Николаевны. Ему нравилось работать с местным композитором Василием Коренковым, который писал музыкальные темы по фольклору долган, ненцев, нганасан. Коренков был не в ладах с нотами, а Николай Васильевич профессионально ложил его мелодии на нотный лист. Потом виртуозно аранжировал их, добавляя сочности и красок музыкальным пьесам. Ансамбль переживал творческий спад.

Менялись хореографы, состав участников, возник репертуарный голод. Кроме Василия Коренкова, никто не писал национальные мелодии, а хореография застыла на шести танцах, среди которых блистали самобытностью и четким рисунком композиции «Хэйро» и «Мастерицы». Местная сварливая интеллигенция упрекала руководителей творческого коллектива русскоязычным составом участников, слабым знанием бытовой культуры коренных народов Таймыра, но сама мало чем могла помочь, потому что плохо знала обычаи своего народа. Но как бы ни лихорадило ансамбль, он участвовал во всероссийских и во всесоюзных фестивалях, представляя Таймыр на высоком уровне. Василий Коренков нередко успокаивал руководителей культуры округа, когда шла подготовка к очередному мероприятию:

— Не волнуйтесь, вырулим!

И выруливали, привозя грамоты и дипломы с различных фестивалей и смотров.

Поэтому Любочка на первом производственном совещании поставила задачу подъема творческого потенциала ансамбля и народного театра юного зрителя.

— Эти коллективы на контроле в Министерстве культуры. И они всегда должны быть на высоте. Надо создать репертуарно-художественный совет, чтобы он занимался формированием репертуарной политики не только в народных коллективах, но и во всех кружках художественной самостоятельности города. А наши «народные» являются комсомольскими лауреатами, и опускать творческую планку им никак нельзя. И еще, — добавила она, — жду предложения по созданию кружков и набору населения в клубы и любительские объединения. Такое здание не должно пустовать ни днем, ни вечером. Мы можем по-настоящему заняться досугом наших людей. А посему: суббота и воскресенье — рабочие дни, понедельник — общий выходной, а далее — по скользящему графику. Вопросы ко мне есть?

Вопросов не было. Сослуживцы расходились по своим кабинетам, обмениваясь короткими репликами.

— Круто твоя берет, — доверительно шепнул на ухо Николаю Василий Коренков. — Не сломалась бы через месяц. Здесь уже было таких с десятком.

— Пусть пробует, коль согласилась.

А две подружки-методистки Тонька и Нюська, покуривая в курилке, соображали вслух:

— Слышь, Тони! Это не Верка! Эта не даст нам спать за столом от безделья.

— Да! Надо, наверное, тикать в клуб порта, пока там вакансии есть.

— Подождем немного. Может, и эта обломает зубы.

Но Любочка не собиралась их ломать. Освоившись, она пригласила подружек и спросила:

— Ну как настрой? Работать будем?

— Нет. Нас уже пригласили в клуб порта, — соврали они.

— А там что? Работать не надо? Или пока шель-шевелить и там можно отсидеться год-два без натуги? Замены вам я пока не нашла. Прошу работать, пока на ноги не станем.

— Нет! Работать здесь сложно. Постоянно проверки, контроль. Мероприятия одно за другим. А в клубе порта тишина — никакой суеты. Подготовили — провели. Не подготовили — никто не спросит. Здесь за последние два года

мы так и не смогли ничего сделать. Бумаги перекладывали из ящика в ящик. Да и директора были один лучше в кавычках другого. Поэтому попробуйте без нас. Авось получится, — с ехидцей посоветовали они, перебивая друг друга.

— Жалеть не будете? Назад я вас не возьму. А ведь придете. Работать-то везде надо. Желаю успеха!

В расстроенных чувствах пришла она к Ивану Юрьевичу.

— Помогайте. Работать не с кем. Остатки творческих работников разбежались, кроме ансамбля и ТЮЗа. Не устраивают их мои требования. Где взять толковых ребят?

— Свободных и толковых нет. Они заняты в других учреждениях, где на них все и держится. Уйдут — и там появятся прорехи, а значит, и спад в работе. Придется делать кое-какие перестановки. Есть у нас «творянка» Тася Королькова. Толковая женщина, наша, дудинская. Режиссер от Бога. И пишущая. Не приемлет компиляции. Сценарии сочиняет, стихи. Все сама. Живет этим. Сейчас она директор Центра народного творчества. Давно просится с административной должности на творческую. Бери ее хударком. Хотя в культуре как раз недостает администраторов с творческой жилкой. Но ради тебя жертвую Таисьей. О ее двух проблемах не буду говорить. Поначалу постарайся их не замечать, чтобы не обидеть Таисью. Может, она сумеет от них избавиться. А коль явно начнет проявлять, тогда и выскажи ей в глаза.

— Хорошо. Я с ней встречу и переговорю. Но одной Таисьи мало, хотя она и универсал.

— Не волнуйся! Просятся многие на работу. Переговори с Валентиной Сергеевной. У нее в городском отделе большая переписка. Просится на работу женщина из Белоруссии. С высшим, клубника. Может, возьмешь ее методистом. По мере приезда специалистов будем комплектовать твое учреждение. Думаю, свежие силы сдвинут застой в работе. А у самой как здоровье? Что-то худеешь ты на глазах. Костюм мешковатым кажется.

— Терпимо. Давление только постоянно. Голова болит от перепадов.

— Хомут-то ты надела приличный. Крутиться на работе надо день и ночь, а не всегда результат виден. Но какая бы занятость не была, надо следить за здоровьем. Тут декабрь — самый тяжелый месяц. Темная пора, морозные туманы и магнитные бури. Для сердечников — это хуже марафона. Тебе с твоим давлением надо больше двигаться, отдыхать и в суете дел постараться не заметить гнетущей морозной темноты. Это поможет избежать стрессовых ситуаций.

— Да я в Кемерове занималась. И гимнастикой, и бегом. Восемнадцать кг сбросила. Вот и костюм стал мешковат. Не верите?

— Да, верю! Крепись, чтобы темная пора была для тебя светлой. Желаю удачи!

Любочка вышла из отдела. На улице вечерело. Юго-восток нет-нет да и бросал поземку ей в лицо, гнал крупички снега вдоль деревянного тротуара. Пройдя мимо деревянных двухэтажек и выйдя к клубу порта, она увидела кусок черной ленты Енисея, с сотнями мерцающих огней стоящих на рейде речных судов, готовых к отходу в Красноярск. Вода парила, а ветер гнал туман, окутывая по пути стоящие суда, потом поднимал его к низко плывущим об-

лакам. Мощные «моряки» вальяжно стояли у причалов, не обращая внимания на суетливую работу порталных кранов. Северная зима медленно, но уверенно вступала в свои права.

31

Любочка встретила с Таисьей Корольковой. Высокая и хрупкая, она зашла в кабинет, поздоровалась и села через стол от Любочки, прикрывая ладонями только ей самой видимые острые коленки. В карих глазах любопытство и настороженность.

— Таисья Яковлевна! Я хочу предложить вам должность хударка Дома культуры.

— Вы же знаете, что я сейчас директор Центра. У меня коллектив, соответствующая зарплата. Но проблема с квартирой. Окрисполком тяжело решает этот вопрос, горсовет — хозяин в городе. Ему легче найти квартиру.

— Я поняла. Зарплата? Оклад плюс доплата за кружок. А жилье? Все зависит от вашей работы. Пойдут люди к нам? Будет им здесь интересно? Я пойду хоть в окружном партии просить вам квартиру. Валентина Сергеевна уже разговаривала с председателем исполкома горсовета по вашему вопросу.

Потом строго посмотрела ей в глаза и добавила:

— Только у меня просьба. Я человек прямой. Говорю все в глаза. Проблему жилья мы обозначили, а проблему, о которой мне не сказал Иван Юрьевич, я сегодня поднимать не буду. Но учтите: всему место и время. Хотя в нашей работе соблазнов много.

Таисья покрылась румянцем. Она догадалась, о какой ее проблеме шла речь, и ответила:

— Буду стараться. Квартиру дадут, уйдем от родителей-раздражителей, и все встанет на свои места.

Они обговорили основные вопросы. Потом Любочка сидела и слушала, а Таисья высказывала калейдоскоп идей. Лицо ее то загоралось ярким розовым цветом, то бледнело, то выражало несогласие, когда Любочка в ее тираду вставляла что-то свое, высказывала свое видение Таисьиной задумки. Чувствовалось, что Таисья, прощупывая Любочку своими идеями, пыталась понять ее изъяны в клубной работе и режиссуре. Но таких оказалось немного. И Таисья с огорчением отметила про себя, что хоть директор ГДК — не режиссер, но имеет свои взгляды на современную режиссуру и знает не только основы системы Станиславского, но и систему таганского Любимова.

«И эта женщина будет мной руководить? — молча задавала себе вопрос Таисья. — Ну она возьмет от меня кое-что, а я от нее, видно, ничего. Неинтересно. А может, я ошибаюсь?»

Любовь Дмитриевна вглядывалась в узкое лицо собеседницы, видела ее прямой нос, а в глазах чуть заметное ощущение превосходства.

— Таисья Яковлевна! Я вижу, вы меня потихоньку экзаменуете, проверяете, кто я по духу: администратор или творец. Вообще-то, кроме клубника, я еще и хореограф.

И, не давая ей времени на ответ, добавила:

— Постараюсь понять ваши творческие задумки, помогать в их воплощении. Но вы в моих делах не поможете. У вас другая струна души. В творчестве вы нередко уходите

от реальности. А у меня кадры, жилье, ремонт, уборка, табеля, зарплата, доплата, «больничные» и узел нервов в кулаке. Так что оценим друг друга в работе, чтобы снять с вас некоторые сомнения.

И опять новая работа, новые люди. Летят незаметно день за днем, месяц за месяцем. У Любочки каждый день новые заботы. То совещания, то заседания, то подготовка к государственным праздникам, то организация концертов. А вечером в Дом культуры идут люди. Идут заниматься любимым делом. Любочка посещает занятия, записывает просьбы слушателей, намечает, что надо решить в ближайшее время. Во все вникает сама, тонкости управления познает. В городе уже ее знают, здороваются на улицах, звонят. Учит она находить общий язык и с детьми, и с подростками, и с пожилыми людьми. Каждого встретит, с каждым перекинется парой фраз, проводит на концерт или на занятие. Да и сама обучает любителей вязанию на спицах. В десять вечера заканчивается рабочий день. Сядет в кабинете, устало откинется на спинку стула и анализирует, как прошел день. И кажется ей этот длинный рабочий день похожим на одеяло, сшитое из множества разноцветных лоскутков материи, которым укрывала ее мать в детстве. И каждый лоскуток — это человек или ее маленькое дело, на которое она потратила очередной день своей жизни. Иногда ей бывает горько, что вот на такие лоскутки уходит ее жизнь, что в ее работе больше будней, чем праздников, и нет никакой большой цели. Потом вздыхает и начинает успокаивать сама себя. «Люди-то пошли. Нашли здесь дело по душе. Значит, я чего-то стою, коль они поверили в меня. И сослуживцы почувствовали, что их работа нужна людям. Каждое мероприятие — в зале аншлаг, — радуется она, заполняя дневник работы. — Так, может, мой рабочий день — не одеяло из лоскутков, а скатерть-самобранка, где люди могут взять то, что душа желает?»

Любочка на работе чувствует себя человеком. Она воодушевлена этой работой, потому что приняла ее своим сердцем не как службу, а как цель своей жизни. Ее ценят, уважают, ее побаиваются. Побоятся больше за ее прямоту. В глаза она говорит человеку все, что о нем думает. Боятся ее те, кто не в ладах с правдой, кто душой мелок и норовит работать по старинке! Но нерадивых не гонит с работы, пытается найти контакт с каждым, найти в человеке и задеть те струны самолюбия, которые заиграют и для него, и для блага всех, кому люб Дом культуры. И находит ведь! Дает возможность людям раскрыться, почувствовать себя личностью. Василий Коренков временно даже бросил выпивать, увлеченный интересной работой. Приходит к ней, целует ручку и начинает наигрывать на баяне новые, им написанные, мелодии. Радуется Василий, как ребенок, и вместе с ним радуется директор.

— Василий Александрович, да у вас настоящий талант. Это же готовый репертуар ансамбля «Хэйро». Я рада за вас. Пишите. А когда наступит творческий застой, приходите. Я дам вам дня три для отдыха.

Дом для Любочки почти не существует. На работе она в своей стихии, а здесь какая-то растерянная, зачастую не знает, за что схватиться.

И здесь, и там нужны ее руки, а времени на все не хватает. Она чувствует, как давит на нее потолок третьего этажа, видит, что каждая вещь в квартире пока не у дел. Узла-

ми, коробками заставлены все углы, а где что лежит, трудно вспомнить. А сколько еще придется прожить в этой временке — никто не знает. Обещают в декабре дать двухкомнатную в новом доме, но гарантии пока никакой нет. А кухня, это повседневное гнездышко каждой хозяйки, пока не обжита ею. Переживает, что не всегда семья сыта с этой работой. Иногда выпадет свободное время, сделает Любочка первое и второе сразу на три. Сначала все довольны, но через два дня приедается одно и то же, и в поварские дела включается Николай Васильевич. Готовит он неплохо. Жизнь в общежитии научила его варить блюда «первой необходимости». Что-то, а суп гороховый или вермишелевый может сварить с закрытыми глазами, да такие вкусные, что пальчики оближешь. Особенно Аленка любит папинс варево, и, когда мамы нет дома, а папа трезвый, она настойчиво просит его сварить супчик.

Просит Любочка и мужа, и детей перетерпеть эти неурядицы с едой. А тут еще клопы надоедают! Ночь проспешь — вся простыня в кровавых пятнах. На порошок клопы не реагируют, поэтому каждый ложится в постель в страхе. Хоть и не собаки эти клопы, но урон психике наносят серьезный. Ляжешь в постель, подоткнешь под себя простыню со всех сторон и думаешь, что теперь ни один не вопьется в мое тело. С этой мыслью и засыпаешь. А среди ночи начинается зуд. Давишь спроронку напитков своей кровью насекомых, скользят по телу мокрые руки, и запах порченной крови напоминает разлитый на пол коньяк. Дальше ночь проходит почти без сна. А утром на работу, в школу. Нервничают жильцы клоповника, да никуда не денешься. Надо свыкнуться с обстоятельствами и жить до новой квартиры.

32

А дни летят незаметно. Вот уже и полярная ночь славила Любочкино сердце. Круглые сутки темень! Мороз за пятьдесят вытягивает! Туман на улице — ни зги не видно. Машины с включенными фарами дорогу ощупывают. Люди, кого нужда выгнала на улицу, ходят очень быстро, кто напористо, кто вприпрыжку, чтобы не успел мороз остудить их тела. И вглядываются в полумраке в лица друг другу, намекают друг другу, если побелел нос или щека прихваченные стынью.

А уж если в небе в проеме тумана зависает полярно сияние, то куда бы ни торопился человек, какой бы мороз ни белил ему нос, он остановится, продерет глаза от нависших на ресницах ледышек и поднимет их к небу. И долго стоит, не замечая мороза, очарованный дрожащим небесным свечением.

Любочка в любую погоду на работу ходит пешком. И пятого микрорайона, где ей уже дали квартиру, двадцать пять минут ходу. Ходит быстро, насколько духу хватает. Прикроет рот шарфиком, чтобы меньше глотать морозный воздух, поднимет воротник собачьей шубы и выходит и подъезда в морозную темень. Сердечко пошаливает, голов после плохого сна несвежая, настроение подавленное. И пройдет пару километров, как бы стряхнет с себя домашни неурядицы, и начинает ощущать прилив бодрости. Дорогой уже обдумывает, что необходимо сделать с утра в первую очередь, пока не расташили на лоскутки ее рабочи

день. Войдя в здание Дома культуры, она на ходу перебрасывается несколькими репликами с вахтером, интересуется, все ли в порядке с системой отопления и в котором часу закончили репетицию актеры ТЮЗа. Сейчас готовится новогодняя программа, и репетиции идут даже ночью.

Из Туруханска обещали прислать самолетом живую елку, настоящую таежную, десятиметровой высоты. Уже сделаны эскизы оформления сцены, фойе. Таисья готовит новогоднее представление, где будет занято свыше тридцати сказочных персонажей. Костюмерная работает на полную мощь, подбирая костюмы, обувь, маски и другой реквизит. Каждый работник занят своим делом, а директор лишь корректирует возникающие в работе неполадки.

С утра у директора посетители. Сначала председатели профкомов уточняли график проведения детских утренников. Потом завучи средних школ обсудили план зимних каникул, затем инспектор пожарнадзора детально инструктировал директора, проверял проводку, запасные выходы и средства пожаротушения. Проверял въедливо и настойчиво, угрожая опечатать здание на новогодние праздники. Предписания для самостраховки он Любочке вручил, но о пломбе больше не вспоминал.

Любовь Дмитриевна посмотрела на часы. Уже скоро обед, а надо еще успеть дать рекламу на радио и в газету. В дверь осторожно постучали.

— Да-да! Входите!

В кабинет вошли двое мужчин: один высокого роста, неширок в плечах, отчего показался Любочке каким-то хрупким, а второй — коренастый, с небольшим животиком и чуть нахальными глазами.

— Здравствуйте, Любовь Дмитриевна!

— Здравствуйте! Присаживайтесь. По какому вопросу?

— Мы с «Ивана Папанина». Я первый помощник капитана, Сергей Никитич Вохминцев, а это наш боцман Григорий Алексеевич Шумилин, — показал он на коренастого соседа. — Можно просто: Сергей и Григорий.

— Очень приятно. Зачем пожаловали, дорогие флотоводцы?

— Мы с просьбой дать концерт на судне в рождественские праздники. Мы видим вашу запарку, но хотели, чтобы вы нам помогли.

— Когда бы вы хотели и какая у вас площадка?

— Кают-компания у нас, а время — двадцать восьмое декабря в девятнадцать ноль-ноль.

Любовь Дмитриевна посмотрела в свою «шахматку».

— Устроит. По времени: на час хватит?

— Хватит, а потом рождественский ужин. Приглашаем вас, персонально, к нам на праздник, — ответил Сергей Никитич.

— Не обещают. Группу возглавит худрук Таисья Яковлева.

— Любовь Дмитриевна! Мы вас умоляем быть нашим гостем, — поддержал начальника Григорий Алексеевич. — Но если вы не придете, и Сергею, и мне будет очень грустно.

Любочка подняла глаза и посмотрела на Сергея Никитича.

— Он прав, будет очень грустно, — подтвердил первый помощник капитана.

Любочка поднялась со стула и подошла к заиндевело-му окну, открыла форточку и посмотрела на сверкающий огнями причал.

— А где вы стоите? Отсюда видно?

Сергей Никитич подошел к окошку и, наклонив голову к Любочке, сказал:

— Вон, смотрите! Из окна видны только огоньки кормы. Это напротив очистных сооружений. Пятый морской причал.

— Я поняла. Придется заказывать автобус для артистов.

— Ну что ж! Благодарим вас, Любовь Дмитриевна, за помощь. До встречи!

Сергей Никитич взял ее правую руку и поцеловал. А Григорий Алексеевич, чтобы не остаться в долгу, протянул ей фотографию своего судна.

— Дарю вам, чтобы помнили нас!

— Спасибо, Григорий Алексеевич! Буду помнить.

Любовь Дмитриевна, спустившись на первый этаж с моряками, проводила их до выхода. Время обеденного перерыва истекло.

— Ладно, — подумала она, — обойдусь без обеда. Вечером уйду пораньше и приготовлю дома ужин.

Любочка думала об ужине, а из головы не выходили двое храбрых моряков, особенно Сергей Никитич, немного застенчивый и грустный человек, с добрым доверчивым взглядом.

Был конец декабря. На «Иване Папанине» ждали артистов. Сергей Никитич чуть ли не ежедневно звонил Любочке по радиотелефону и интересовался, не срывается ли концерт, справлялся о ее настроении, а она звонким голосом шепетала ему о своих делах. Он держал трубку у самого уха и с удовольствием слушал ее голос с иногда непривычным звуком «ч». Когда она волновалась в разговоре, то нередко вместо «ч» произносила «ц», потом вдруг спохватывалась, что допустила ошибку, и начинала внятней безошибочно повторять снова. И чем чаще они беседовали по радиотелефону, тем больше у нее возникало желание побывать на судне, встретиться со своим знакомцем и лучше узнать, что он за человек.

А Сергей Никитич был лет сорока трех — сорока пяти от роду. Круглолицый, голубоглазый, с чуть искривленной переносицей и полными губами. Родом из Таганрога. Окончил Одесскую мореходку и лет двадцать ходил по Черному морю да иногда за границу. А как пошла смута в Союзе, перевелся в Мурманское пароходство. Побывал в Швеции, Норвегии, Германии, а вот на Таймыр попал впервые и сразу стал понимать, что в Мурманске не тот Север, что в Дудинке. И ночь полярная там ночью не кажется, а просто сумерками. Здесь же Северный полюс постоянно дышит в лицо, особенно зимой. Хотя и хлебнул он романтики досыта, став настоящим морским волком, но в этом рейсе он встретил много удивительных вещей: и осенний шторм в проливе Вилькицкого, и беззащитность маленьких полярных станций, затерянных на островах океана, и сполохи полярного сияния, повисшего в небесном бездонье, и, наконец, эта появившаяся, словно из страны грёз, Любовь Дмитриевна. Он на время ощутил себя юношей, впитывающим своим естеством все краски мира. И эта случайная встреча с женщиной произошла как раз в период

смены ощущений и ускорила ее, обогатив их палитру вновь вспыхнувшей в его душе любовью. Хотя до этого он уже давно разуверился в любви и научился гасить эту страсть в себе, так что с годами она не воспламенялась по пустякам. Впрочем, как у каждого моряка, у него были короткие увлечения в портах да отпусках, но они не оставляли след в его душе.

А разуверился он из-за первой жены, остававшейся на берегу, когда он ходил по Черноморью. Не вынесла она одиночества, хотя уже имела трехгодовалую дочь. Пошла по рукам у моряков других портов приписки.

Оставил он ее вместе с дочерью, хотя любил их обеих, как ему казалось, до самозабвения. Жаль ему было оставлять ребенка у разгулявшейся жены. Боялся, что не сможет она воспитать дочь, что, увлекшись мужчинами, будет забывать о девочке. Он рисовал себе такую печальную картину, хотя знал, что его жена сильно любит маленькую Танюшку и вряд ли позволит себе разменять ее воспитание на любовные утехы. Он сомневался в своем предположении, рассуждал сам с собой вполне логично. «Если она предала меня, то неужели она не сможет предать дочь? — спрашивал он себя. И, подумав, находил ответ: Может! Человек все может, особенно женщина. Хотя материнский инстинкт сильнее любовной страсти». Потом добавлял к своим сомнениям: «А может, и не сильней, но любовная страсть живет мгновениями, а материнская любовь — вечностью». С собой взять Танюшку он не мог. А живущая в Таганроге мать болела и сама нередко нуждалась в уходе. Он сильно переживал, что усложняет жизнь дочери, обрекая ее на безотцовщину, наносит ей и себе душевные раны, которые будут ныть всю жизнь. А боль будет оттого, что он станет предателем, оставив малышку. Все он взвесил, все обдумал, и уже, ради дочери, решил не разводиться. Хотя на флоте большинство мужчин — «рогоносцы», Сергей Никитич не хотел примерять эти украшения на себя. Он знал себе цену. Еще с полгода он тянул с разводом. Думал, пересилит себя, уйдет чувство унижения из души. Но время не выветрило душу. Уходил со слезами на глазах, потому что знал: сюда он больше не вернется и никогда не увидит эти две пары любимых глаз.

Концерт проходил в кают-компании, оформленной со вкусом разноцветными гирляндами, искусственными елочками и ватными снежинками. На каждом столике горели свечи, придавая таинственность рождественскому празднику и начинающемуся действу. В воздухе висел запах тающего стеарина и жарящихся свиных отбивных. Любочка сидела за столиком с Сергеем Никитичем и перебралась малозначащими фразами. Моряки, словно стеснялись артистов, бесшумно проскальзывали в дверь и садились, куда указывал боцман Григорий Алексеевич. Он стоял у двери, облаченный в двубортный костюм цвета маренго, белую рубаху и черный галстук. Любочке он казался даже стройней, чем при первой встрече. Она заметила, что и Сергей Никитич, и Григорий Алексеевич любят порядок и дисциплину на судне, и сегодняшний праздник должен пройти по высшему разряду.

На столиках уже стояла холодная закуска, шампанское и коньяк, а с камбуза по-прежнему пахло жареным мясом.

— Так у вас сегодня, Сергей Никитич, рождественский ужин по ресторанным меркам. Задал поварам хлопот наш приезд.

— Ничего, Рождество бывает раз в году. Можно и расслабиться. Команде тоже нужен отдых, а тем более приятное общение с такими женщинами, как вы. А повара у нас мастаки на все руки. Других флот не держит.

— Спасибо за комплимент, Сергей Никитич. По-моему, пора начинать. Все столики заняты.

— Вся команда здесь, кроме вахтенных. А вот и кэп появился. Начинайте!

Концерт шел на одном дыхании. Зрители бисировали, особенно девушкам из группы эстрадного танца «Поиск». Их полуобнаженные тела, экзотические костюмы и мастерство в передаче характера танцев вызывали неописуемый восторг у команды.

Сергей Никитич весь концерт не сводил глаз с Любови Дмитриевны, и если бы его спросили, какой концертный номер ему понравился, то он, вероятно бы, ответил: «Любовь Дмитриевна и весь концерт». Они же, сидя рядом, чувствовали себя скованно, как будто являлись должниками друг перед другом и, не имея возможности отдать долг сейчас, мучительно переносили молчание.

После концерта пошли рождественские и предновогодние тосты вперемежку с танцами. Девушки быстро были разобраны парнями и усажены за столики с учетом взаимных симпатий, а Григорий Алексеевич с Таисьей подсел к Сергею Никитичу и Любови Дмитриевне.

— Давайте хоть за знакомство выпьем! А то не гоже я себя чувствую, как хозяин. Все хлопоты, а вам внимания не уделяем. Сергей Никитич — мужчина робкий. Инициативу к выпивке не проявляет.

Они чокнулись рюмками.

— А за удачное знакомство пьют стоя! — крикнул боцман.

Все дружно встали, чокнулись еще раз и опорожнили рюмки.

Любовь Дмитриевна ощутила тепло коньяка, разливающегося по телу, и постепенный уход из души чувства дискомфорта, необычности обстановки. Сидевший рядом с ней мужчина, стеснительный, как ребенок, теперь уже казался ей ближе и понятней, как будто они знакомы давно.

Но первым ее пригласил на танец Григорий Алексеевич.

— Что-то вы в молчанку играете, Любовь Дмитриевна. Я могу простить Сергея. Он по натуре молчун. Но вы-то проявите активность, разговорите его. Он так ждал этой встречи, а сейчас сидит разочарованный.

— Не волнуйтесь, Григорий Алексеевич! Вечер еще впереди, и он будет очарован нашими девушками.

— Но он от вас ждет чар, Любовь Дмитриевна.

— От меня? — засмеялась она. — Я не чародейка.

Сергей Никитич, улучив момент, когда вся команда танцевала, неуклюже вклинился с Таисьей в толчею. Он изредка посматривал на нее, слышал запах ее разгоряченного тела, думал, о чем с ней заговорить, но так и не придумал. Зато боцман с Любочкой сыпал шутками да прибаутками, вворачивал острые словечки матросского жаргона.

«Алексей с женщинами, как рыба в воде, — молча позавидовал боцману Сергей Никитич. — Хотя на флоте не

менее моего, но навыки общения с женщинами не утратил».

После танца они снова сели за стол, выпили за приближающийся Новый год, и Григорий Алексеич предложил гостям показать судно.

— Пока молодежь веселится, пойдёмте посмотрим наш дом, чтобы вы хоть имели представление, как живут северные мореманы.

Они поднялись из-за столика и спустились сначала в «машину», потом заглянули в спортзал, сауну, поднялись на капитанский мостик, прошли по палубе, побывали в радиорубке.

Женщины с любопытством осматривали судно, задавали вопросы, удивленно вскидывали брови вверх при ответах.

— Все, конечно, очень интересно. Но видеть каждый день одни и те же лица, одну и ту же дорогу на вахту и назад в каюту, жить ежедневно по одному и тому же распорядку, я думаю, скучно. Плавучей тюрьмой пахнет. Это не по мне. Все это обедняет душу, а отдушину у вас только на берегу. Вы, вроде, всю жизнь на морском просторе, а душевный простор ютится вот на этом плавающем пятачке.

— Ну уж, Любовь Дмитриевна, вы нас уели. Плохо вы знаете нашего брата, — перебил ее боцман. — Душа наша к этому пятачку навек прикипает. В этом вы правы. Но простора на нем больше, чем на суше. Моряки фантазией живут, а фантазия не знает границ. В этом их ощущение простора.

Сергей Никитич не вмешивался в их разговор. Ему интересна была философия «сухопутной женщины» и боцмана, прошедшего тысячи морских миль, о моряцкой жизни. До сих пор он считал, что большинство женщин всегда тянет к морякам, как к экзотическим мужчинам, живущим месяцами на необитаемых островах, то есть на судах, где нет женщин. А тут его новая знакомая, по-своему, развенчивает эту морскую когорту мужчин, причем, тонко подмечает ее слабости, как будто не один год общалась с моряками. Ему хотелось поддержать ее в споре, но в то же время не дать утвердиться мнению, что моряк гульливый, как волна в океане.

— Да, Любовь Дмитриевна, в чем-то вы правы. Конечно, приедаются одни и те же лица, мрачнеет одна и та же картина морского бытия. Тянет на берег. Тянет до раздражительности. Но через две недели «просыхания» на берегу снова тянет в море, снова тянет на этот плавающий «пятачок», потому что душой ты море не покидал, потому что душой ты там и остался. И никакие посулы суши не заменят ему ощущения этого замкнутого простора.

— Даже любовь? — вопросительно посмотрела на него Таисья Яковлевна.

— Ну любовь — это особая категория чувств. Если это любовь к женщине. В море ее удешевляет разлука.

— Вот с этим вопросом у нас тяжело, — вмешался боцман. — Чего не говорите, а женщина есть женщина. Тут даже без любви хочется ее видеть. Просто так. Чтобы не терять ощущения. Вы взгляните на наши каюты. Там нет на стенах портретов жен, зато уйма вырезок из журналов. Тоскует моряк о женщине. Вот и смотрит на их снимки в трудную минуту. Фантазирует, облагораживает себя их молчаливыми образами, чтобы совсем не стать мужланом, чтобы

пригасить в себе мужскую суровость. А некоторые даже стихи посвящают безымянным фотомоделям.

Наконец, они зашли в каюту Сергея Никитича. Комсоставская каюта была просторная и состояла из двух помещений: небольшой прихожей и спальни. На полу лежала ковровая дорожка, стены были оформлены под красное дерево. В прихожей стояла тахта для гостей, небольшой рабочий стол с лампой-бра на гибких кронштейнах. На правой от входа стене висели две книжные полки с художественной литературой и книгами по морской навигации, а в уголке за тахтой стояла тумбочка с факсом. Факс тихо скрипел, принимая информацию.

— Мурманск передает коммерческие документы. Работает сейчас в автоматическом режиме, — пояснил гостям хозяин каюты.

— Интересный телефон. А как он называется? — полюбопытствовала Любовь Дмитриевна.

— Факс. Фа-а-кс, — повторил Сергей Никитич.

— Так вы получаете документы, минуя почту. Оперативность почти стопроцентная. А по каким каналам это проходит? — спросила Таисья Яковлевна.

— Через спутник. То же, что и переговоры, — ответил Григорий Алексеевич.

— А вы видели в рулевой рубке компьютеры? — вопросительно посмотрел первый помощник капитана Любови Дмитриевне в глаза.

Та согласно кивнула головой.

— Так вот большинство навигационных расчетов, которые раньше делал штурман по логичной и логарифмической линейке, производят компьютеры, причем в считанные минуты. Комсостав судна уже освоил эту технику. Без проблем обрабатывает всю информацию о судне и поступающую на судно. Почти без ошибок.

— Да! — с юмором сказала Любовь Дмитриевна. — Пока наша отрасль дойдет до компьютеров, так мы уже и состаримся.

— Не пугайтесь! Через три-четыре года и вас втянут в электронную информацию. Америка уже вся в компьютерах, а Япония даже имеет карманные аппараты. В ладонь положил и считывай информацию, — блеснул знанием темы Сергей Никитич.

Все вошедшие в каюту стояли и беседовали, а хозяин, увлекшись разговором, даже не пригласил женщин сесть. Первым нашелся боцман:

— Извините, пожалуйста! Присаживайтесь на тахту. Будем беседовать сидя. А для тонуса у хозяина каюты есть кое-что в холодильнике. Позволь, Никитич, распорядиться?

И боцман проворно украсил стол бутылкой коньяка, парой лимонов, плиткой шоколада и четырьмя маленькими рюмками.

— А теперь хозяину каюты слово. Давай, Сергей Никитич!

Тот не ожидал такого поворота событий от инициативного друга, но быстро наполнил рюмки и протянул женщинам.

— Я предлагаю тост за вас, дорогие гости. Вы настоящие украшения не только суши, но и моря. Мы, мужчины, без вас никто. А рядом с вами становимся тем, кем являемся на самом деле. Будьте счастливы и всегда с нами!

— Спасибо за добрый тост! — дружно поблагодарили женщины.

— Можно мы вас в щечку чмокнем? — настойчиво спросила Таисья Яковлевна.

Мужчины, улыбаясь, закрыли глаза и под собственные аплодисменты приняли поцелуи.

Сергею Никитичу не терпелось остаться вдвоем с Любовью Дмитриевной. Он пытался незаметно кивнуть боцману, чтобы тот с Таисьей Яковлевной покинул его каюту. А боцман старался не замечать этих жестов. Ему нравилась компания, и желание уйти у него еще не появилось.

Сергей Никитич сгорал от нетерпения узнать, какая же она на самом деле — эта запавшая в душу женщина. Счастлива ли она в жизни? О чем говорит не сходящая с ее лица улыбка? О довольстве жизнью? А может, этот налет веселости скрывает душевную боль? Он вспомнил русского классика, сказавшего, что чужая душа — потемки. И все же он надеялся на откровенность Любови Дмитриевны. Он лихорадочно посматривал на часы и горестно вздыхал, что время встречи истекает. Наконец, говорливый боцман смекнул, что Любовь Дмитриевну и Сергея Никитича надо оставить вдвоем для «приватной» беседы. Он что-то шепнул Таисье Яковлевне, и они вышли из каюты. Любовь Дмитриевна тоже поднялась с кушетки и сказала:

— Извините, Сергей Никитич, но время уже к полуночи. Надо собираться к отъезду.

Сергей Никитич от неожиданности скривил губы, словно обиженный мальчишка. Он просил Любовь Дмитриевну немного задержаться, но, почувствовав ее решительный тон, прекратил уговоры.

— Очень жаль, Любовь Дмитриевна, что вы покидаете нас. Покидаете, не оставляя никакой надежды на следующую встречу.

— Почему? Заходите. Рады будем вас видеть.

— А можно я вам письмо напишу?

— Смотрите! А у вас есть что-то важное для меня? Я замужем, двое детей. Я это говорю вам в надежде, что это сообщение лишит вас необходимости писать мне письмо.

— Не думаю, дорогая Любовь Дмитриевна! Наоборот, ваша откровенность повысила мой интерес к вам. А адрес вашей работы?

— Уж если вздумается, то пишите «до востребования».

— Спасибо. Я обязательно напишу.

И он нежно поцеловал ей руку. Потом они спустились по трапу к автобусу.

После уютной каюты мороз на улице казался колючей, чем с вечера. Любочка плотнее запахнула свою «собачку», спрятала нос в воротник и из-под лба глядела на Сергея Никитича. Она знала, что он сейчас испытывает. «По крайней мере, он сегодня будет засыпать с мечтой», — подумала она и дремотно улыбнулась.

— Ну, Сергей Никитич! Большое спасибо за прием. В очередной рейс заходите — будем вам рады.

— Спасибо! Теперь придем в Дудинку не раньше марта. Заглянем. Остальное письмом.

Любочка слышала, что последние слова ему даются тяжело. Он просто не умел без грусти прощаться. Она протянула ему руку в перчатке:

— Удачи вам в новом году!

И поднялась по ступенькам в автобус.

В тот год начало марта было на редкость теплым. Легкие снежинки медленно планировали в воздухе, создавая лучах холодного солнца чуть заметные штрихи радуги. Он воображаемым теплом наполняли души гуляющих на набережной горожан. Кавалькада саночек с маленькими сиденьями рассыпью мельтешила у снежных гор, ожидая очередей лихо скатиться с сугроба. А любители собак чинно прогуливали их у самого парапета. У причалов порта шла размеренная разгрузка и погрузка морских судов. Слышны были скрежет металла, сигналы снующих грузовых составов и гул мощных «кразов». Ледокол «Авраамий Завенягин» завопил к причалу «Ивана Папанина».

На улице дышалось легко, и Любочка, подойдя к Дом культуры, следила за происходящим на набережной и причалов. «Иван Папанин», швартуясь, подавал гудки словно сообщал Любочке, что ее знакомый прибыл в Дудинку.

Она вспомнила о его письме, в котором он описал свою жизнь, сетуя на несчастную любовь, на коварств бывшей жены, на то, что уже надоела холостяцкая жизнь. Он горит желанием «пришвартоваться к берегу», завести семью, оставить море и пожить «нормальной человеческой жизнью». И еще он писал, что эти мысли возникли у него после встречи с нею. Что ему так не хватает женского тепла, а такое тепло почувствовал он, когда был рядом с Любовью Дмитриевной. Именно она заставила его пересмотреть свое отношение к женщинам в лучшую сторону. Хотя до нее у него были короткие романы, но ни одна из женщин так и не взяла его за душу. Он ей раскрылся в письме: «Мне бы такую, как Вы, и, кажется, я был бы счастлив. Но у Вас семья. И у меня сердце сжимается от мысли, что я могу Вас исковыркать жизнь. Я не уверен, что смогу принести Вам счастье. А мне так хочется сделать это. Простите, если где-то не так выразился», — процитировала она концовку его письма.

«Вроде и мужчина видный, и должность ответственная, а счастье свое так и не встретил. А сколько таких несчастных на белом свете? Правда, не каждый откровенничает о своей судьбе, особенно о тяжелой. Многие эту тяжесть в себе носят всю жизнь, не хотят ее выпускать наружу, чтобы к кому-нибудь она не прицепилась. Каждый несет свой крест в одиночку. По себе знаю, — думала она, глядя на гуляющих людей. — Забывают на время о ней, чтобы хоть чуть-чуть душу облегчить».

Любочка привыкла, что ей не везет в жизни. Был иногда по-бабьи тоскливо. Жизнь-то одна, годы уходят, ничего доброго в жизни почти не видела. Она не из тех, кто сама будет добиваться чужей-то любви, особенно грешной, чтобы потом не глядеть в след тому, когда он появится с своей законной женой. И этим будет счастлив. Она не из тех, кому от чужой беды радость. Горе ее рядом с ней живет и живет радость и счастье ее с несчастьем пополам.

Любочка еще раз окинула взглядом набережную, нашла уже пришвартованный к причалу «Иван Папанин» и, не испытывая большой радости, направилась в Дом культуры.

В кабинете зазвонил телефон. В трубке был слышен знакомый, но забытый ею голос.

— Любовь Дмитриевна? Добрый день! Узнали?

— Кто говорит? Не могу вспомнить.

— Плохо, два месяца прошло и уже забыли, да?

Любочка сосредоточилась, напрягла память, а увиденный ею причаливший теплоход только сейчас напомнил о возможном звонке Сергея Никитича.

— Сергей Никитич! — радостно засмеялась она. — С приходом! Я видела, как вы подходили к берегу, но звонка не ждала. Как у вас дела?

— Все в порядке. Скучаю. А мое безответное письмо получили?

— Получила. Спасибо!

— Ну и как?

— Это не телефонный разговор. Если хотите услышать ответ, то нам надо встретиться.

— Приходите! Я буду ждать.

— Нет-нет! Только не на судне. Джентльмены сами приходят к женщинам.

— А когда?

— Договоримся. Вот я чуть освобожусь. Звоните сегодня к вечеру. А вы, наверное, недели три будете стоять?

— Пока не знаю, но не меньше. Отсюда уходим в Голландию. Как Таисья Яковлевна? Ей привет от Алексеича и от меня.

— Спасибо, передам.

— Кстати, я готов в семнадцать ноль-ноль заглянуть к вам. Можно?

— Извините, но я буду занята.

Любочка услышала в трубке тяжелый вздох.

— Жаль, Любовь Дмитриевна! А я так хочу увидеть вас.

— Не волнуйтесь, Сергей Никитич! Встретимся и не однажды, если обстоятельства позволят. До свидания!

Для Любочки он был просто знакомым. Она же для него, судя по письму, была больше, чем знакомая. По крайней мере, он ее так хотел воспринимать. Любочка же не могла понять, почему он, преданный бывшей своей женой и проживший в одиночестве почти пятнадцать лет, так сходу предлагает ей руку и сердце. Правда, не напрямую, а намеками, словно проверяя ее отношение к нему. «Неужели он так безрассуден? А может, считает, что своими намеками вскружил мне голову и ощутил возможность погасить свою страсть и занять любовницу, как делал он раньше в том или ином порту, — анализировала она ситуацию. — Если так, то это не для меня. Еще этих забот мне не хватало. А дашь повод — привяжется, да еще вызовет у меня ответные чувства. Дома-то давно мужчиной любовью не пахнет, а только перегаром».

Но как ни сдерживает она свои чувства, все же хочется женщине настоящей любви — не грешной, не похотью рожденной. До сих пор председатель в печенках сидит. Как вспомнит тот случай, аж душу выворачивает наизнанку.

А Сергею Никитичу она может отказать во встрече, но не решается. Не хочет обидеть человека. Может быть, в письме и перехлестнули его чувства от одиночества. И захотел он жить маленькой надеждой на лучшее, а может и не надеждой, а лишь долгим ожиданием ее. Все-таки с ней легче жить. А что он в Любочке заметил особенное, чем она увлекла его — в письме ни слова. Может, еще присмотреться хочет, характер узнать да и душу ее глубже почувствовать. А зачем это ей? Для флирта? Она знала, что обману-

тым сердцем можно сильнее хотеть, но невозможно любить. А семейной жизнью она сыта по горло.

Так что приход судна не вызвал у нее особого интереса, кроме вопросов, которые она ставила сама перед собой, пытаясь найти истинную причину возникшего внимания к ней со стороны Сергея Никитича. В душе не возникло трепетное желание встречи со своим знакомым. Ей казалось, что она будет встречать его, как встречает за день десятки людей. Улыбнется, пригласит сесть, выслушает его, ответит и простится с ним до будущей встречи. И не больше!

Но Сергей Никитич каждый день докучал ей звонками, просил о встрече и, наконец, уговорил встретиться седьмого марта.

Когда закончился праздничный концерт, Любовь Дмитриевну и всех сотрудниц Дома культуры чествовали мужчины. Сергей Никитич ожидал Любочку в фойе, нервно курил, поглядывая на часы. Она долго не решалась пригласить его в свою компанию, чтобы не вызвать у работников нездоровый интерес к своему знакомому. Она тоже посматривала на часы, переводила взгляд на стол с обилием закусок и предполагала, что люди угомонятся не скоро. А человек ждет ее внизу. И тогда сметливая Таисья Яковлевна помогла своему директору освободиться от возникших у нее неудобств. Она спустилась на первый этаж и вернулась за стол с гостем.

— Внимание! Нас посетил известный мореход Сергей Никитич с теплохода «Иван Папанин». Пришел от имени команды поздравить женский коллектив с праздником Весны. Поздравляйте, Сергей Никитич! Аплодисменты!

— Да вы сначала налейте ему, а потом предлагайте тост, — вступился за моряка баянист Василий Коренков.

Сергей Никитич привстал, расстегнул пиджак, поправил галстук, окинул взглядом гудящий стол, требуя к себе внимания, и сказал:

— Дорогие женщины! С праздником вас всех! Пусть всегда будет солнечным ваше настроение, пусть улыбки не сходят с ваших лиц на радость всем любящим вас мужчинам!

Он вышел из-за стола, подошел и чокнулся сначала с Любочкой, а затем с каждой из сидящих женщин. Чокаясь, приговаривал:

— Будьте удачливы в жизни!

Он торопился от одной к другой, чтобы не затягивать тост. Потом пошли песни. Застольники пели на редкость слаженно. Василий Коренков, обливаясь потом, выжимал все из захлебывающегося от натуги баяна. Выделялся чистый голос белоруски Евгении Витальевны, недавно принятой на работу методистом.

— Женя, пожалуйста, спой «Малиновку», — пыталась перекричать хор Таисья Яковлевна.

Были «Малиновка», «Виноградная косточка» Булата Окуджавы, потом начались танцы. Любочка пригласила Сергея Никитича. Танцевали, тесно прижавшись друг к другу. Любочка положила ему руки на плечи и изредка посматривала на танцующих. Несмотря на отпечаток хмеля, на их лицах появлялось любопытство: к кому же все-таки пришел моряк. Но по этой танцующей паре никак нельзя было удовлетворить это любопытство. И Любовь Дмитриевна, и Сергей Никитич молчали, лишь изредка встречались взглядами. Партнер пытался предположить, каким его представ-

ляет Любовь Дмитриевна. Может, навязчивым, легкомысленным или просто бабником, цепляющимся за первую попавшуюся юбку? Он в очередной раз посмотрел ей в лицо. Оно было спокойным, серьезным и чем-то озабоченным. Она думала о сегодняшней встрече, об этом малознакомом человеке, о том, как себя вести с ним. «Не буду же я с ним кокетничать, беспрестанно хохотать, словно беззаботная дура? — спрашивала она себя. — Но холодную и недоступную я просто не сыграю. Надо стать равнодушно-спокойной и никоим намеком не дать ему понять, что он мне начинает нравиться». Она определила для себя стиль поведения и выдержала его до конца вечера.

Расходились небольшими группами. Сергей Никитич вышел на улицу вместе с Любовью Дмитриевной. Было почти безморозно и тихо. Свет причальных прожекторов лучами уходил в небо, рассеиваясь в сумраке ночи.

— Можно я вас провожу домой? — робко спросил Сергей Никитич.

— Домой провожать не надо. Я далеко живу, а вот прогуляться по такой погоде — прелесть!

Шли медленно и молчали.

— Я на правах хозяйки предлагаю пройтись по Советской до профилактория.

— Как скажете! Главное, чтобы я не потерялся в вашем городе.

— Не потеряетесь. Я вас долго неволить не буду. С полчаса — и по домам!

Любочка не хотела, чтобы ее видели с этим моряком. Хоть на улице и ночь, а нет-нет да и попадались знакомые. А ей не хотелось сплетен и пересудов.

Дойдут слухи до Николая, и будет скандал, хотя он ее никогда не ревновал и был уверен, что на такую не позарится ни один мужчина. А увидел бы их — удивился бы и взбесился!

Дорога шла в гору. Тишину нарушили хмельные голоса выкатившейся из «Оленьего рога» компании.

— Не наши ли там гуляют? — спросил у Любочки Сергей Никитич. — Сегодня собирались в ресторан.

— Может быть. Сегодня все питейные заведения заняты — женщин чествуют. А вот наш музей, — показала Любочка на двухэтажное кирпичное здание. — Первый кирпичный дом на деревянных сваях. Стоит с тысяча девятьсот сорок третьего года. А в музей советую сходить всей командой. Есть много уникальных вещей, которых вы нигде не увидите.

— Спасибо. Выход команды организуем завтра. Вместо ресторана — музей, — пошутил Любочкин спутник.

— А вот здесь я жила у знакомой, как только приехала сюда. Вон, справа, деревянная двухэтажка. Второй этаж, первые три окна слева.

— Я закажу мемориальную доску за счет пароходства с текстом: «Здесь жила несколько дней эл. Дз. Заречнева», — засмеялся Сергей Никитич.

Они миновали редакцию газеты и подошли к профилакторию. Постояли, окинули взглядом с горки замирающий городок и пошли по накатанной дороге вдоль здания окрыболовпотребсоюза к старому угольному причалу. Обошли деревянную эстакаду, построенную еще зеками, поднялись на заброшенную железнодорожную насыпь и ощутили прохладу.

— Холодновато здесь, хоть и южный ветер гуляет. Видно, к пурге, — поеживаясь, сказала Любочка.

— Зато мы одни. Одни впервые среди ночной тундры. Есть какая-то таинственность в этом.

— Но ради этого нам пришлось спрятаться от людей. Наконец-то нашли безлюдье, как дикие олени.

— Я-то свободен. Мне прятаться ни к чему. А вот вы, наверное, отступили от своих убеждений, когда предложили прогуляться.

— Нет! Убеждения остались, а вот в душе у меня возникла потребность быть помягче к ним. Потребность поглубже вникнуть в расцветку собственных убеждений и найти им оправдание сегодняшней встрече.

А над Енисеем уже шел слой плотных облаков, прячущих звезды и посылая землю ленивым потоком белых хлопьев. Южный ветер понес облака на город, и вскоре из-за пушистого снега в пяти метрах ничего нельзя было разглядеть.

— Надо быстрее отсюда уходить, а то потеряемся, — подняла Любочка слепящиеся от снега глаза. — Да и ноги начинают зябнуть.

Они заторопились в сторону тускнеющих огоньков профилактория. Шли след в след, навстречу усиливающемуся ветру. Снег под ногами отливал синевой, переходящей в белизну падающих загустевших хлопьев. Они, взмолив, добрались до накатанной дороги, уже успевшие скрыться под слоем свежего снега.

— Слава Богу! Осталось немного, — сказала Любочка своему провожатому, поворачиваясь спиной к ветру.

Чуть передохнув, они взяли за руки и пошли навстречу ветру, пока не добрались до подветренной стороны здания профилактория.

— Добрались. Теперь можно и перекурить, — сказал Сергей Никитич, стряхивая снег со своей штормовки.

В свете прожекторов хорошо было видно его мокрое с таявших снежинок лицо. Тень разочарования застыла в его глазах.

— Любовь Дмитриевна! Так я и не услышал ответа на мое письмо. Может, я обидел вас чем? Но вы ведете себя так, как будто и не читали его. Это что? Нежелание отвечать? Или просто неуважение ко мне?

— А вы по натуре деспот! Не терпите невнимания своей персоне. Скажу сразу: вопросы очень сложные и затрагивают не только меня. Ответ моментально может дать только легкомысленная женщина. А я не из тех, которые блудливы и откликаются по мановению указательного пальца. У меня нет опыта подобного общения. Поэтому ваш старый испытанный прием здесь не сработал, а если ошибаюсь, то вы наивный до глупости. Я живу сложной трудной жизнью. И мне недосуг заниматься флиртом или запретной любовью. Хотите, чтобы мы остались добрым знакомыми?

— Хочу! Но хочу больше, чем знакомыми. Я уже три месяца живу только вами. И вы всегда рядом со мной. И в вахте, и на отдыхе. А это уже не просто знакомство. Здесь другое чувство правит бал. А вы не хотите к нему прислушаться.

— Я к нему прислушивалась со дня нашего знакомства. Могу сказать, что сердце мое понимает ваше. Но что-то

убито в моем чувстве к вам. Должно быть, просто будущее. Я его не вижу.

— Дорогая Любовь Дмитриевна! — он взял ее руками за воротник и мягко приблизил к себе. — Я чувствую, что пропаду без вас. Я может неэтично поступаю, но у меня к вам невыразимая тяга. Хотя я не безвольный человек. Могу сдерживать себя. Но сейчас я просто бессилён. Мне с вами нелегко. Я словно парализован. Чувствую себя зависимым от вас. И вы не имеете права мне отказать, хотя бы во внимании. Вы можете молчать, можете тянуть с ответом. Но отказать... Сегодня я этого не перенесу. Может, позже и смогу, а сегодня — нет.

Он смотрел на веки ее закрытых глаз, ожидая ответа. Но Любочка то ли уже засыпала, то ли, сосредоточившись, обдумывала ответ. Он встряхнул ее за воротник и, как Иисус Христос, воскликнул:

— Талифа куми: девочка проснись!

Любочка открыла глаза. Она, действительно, на какой-то миг отключилась и виновато моргала глазами.

— Извините, Сергей Никитич! Устала, веки сами сомкнулись. Пора домой. Теперь вы меня немного проводите. Да смотрите, чтобы сами не потеряли свое судно в этой снежной круговерти.

Они шли по улице почти боком, уклоняясь от порывов ветра и поворотом головы контролируя дорогу. Повернули на Островского. Теперь ветер дул в спину, и они ускорили шаг. Возле кинотеатра «Арктика», на фасаде которого тускло бурлили неоновые лампы, стояли два первых в городе такси. «Дворники» четко бегали по ветровым стеклам, сметая липкий пушистый снег.

Сергей Никитич отделился от Любочки и подошел к таксистам:

— Ребята! В пятый микрорайон, кто смелый?

Через минуту такси медленно пробиралось по мягким сугробам улицы Матросова. У магазина «Таймыр» уже работал шнекоротор, очищая проезжую часть дороги. В салоне было тепло, и увязший в Любочкину шубу снег начал превращаться в капли воды.

— Сергей Никитич! На улице сложняк, поэтому этим же такси вы возвращаетесь на судно. Звоните.

Таксист посмотрел на Любочку.

— Какой номер дома?

— Щорса, 37. Вот сюда прямо во двор. Спасибо. Этого же молодого человека доставьте поближе к причалу, чтобы не замерз. До свидания, Сергей Никитич!

34

В свой первый «северный» отпуск решили они заглянуть к матери Николая. Заглянуть всей семьей. Старушку увидеть, себя показать, потому что все мы ходим под Господом Богом. Сегодня живем — завтра нет!

Добрались поездом из Москвы до Иванова, «Икарусом» до Палеха, а там — до деревни рукой подать. Антон бывал у бабушки в гостях лишь однажды, в пятилетнем возрасте, а Аленка ехала впервые. Автобус шуршал шинами по асфальту, останавливался «по требованию» у перекрестков дорог, высаживал по два-три пассажира и подбирал «голосовавших» у обочины. В салоне «пазика» было душно, а поступающий через воздухозаборник свежий воздух облудил

вал лишь нескольких пассажиров, попадавших в его поток. Несмотря на зашторенные с солнечной стороны окна автобуса, лучи солнца гуляли по салону, «доставая» изнемогавших от жары пассажиров.

— Папа, скоро мы приедем? — нетерпеливо стучала ладошкой Аленка по колену Николая.

А папа, вытирая платочком вспотевшее лицо и шею, отвечал дочери:

— Потерпи. Как свернем от солнышка влево, так и появится бабушкина деревня.

Потом Николай повернул голову к Любочке:

— Смотри, Люб, платочек уже мокрый да серый от пота. Хорошо, что не надел белую рубашку, а то бы потом не отстирала.

— Да у меня у самой полная голова пыли. В поезде угольной, а тут дорожной насобирала. Расческа аж скрипит.

Автобус свернул влево, и при повороте Любочка увидела церковную колокольню.

— Вон уже церковь видна. Километров пять осталось.

Любочка достала бутылочку с водой и протянула Аленке.

— Антон, а ты воду будешь пить?

— Не хочу. Мне не жарко. Майка — не рубашка. Потерплю.

Антон уже почти взрослый. Старается даже в автобусе сидеть отдельно от родителей, чтобы избавиться от их чрезмерной опеки. Рядом же такие ребята, как Антон, едут одни, без родителей, и это подчеркивает их самостоятельность. А Антону давно хочется быть ни от кого не зависимым.

Он смотрит сквозь припорошенное пылью окно на пробегающую мимо стену густого леса, пытается разглядеть что-нибудь интересное в этой движущейся монотонности. Смотрит и вспоминает свою соклассницу Нинку, оставшуюся на каникулы в Дудинке. Не хотел он ехать к бабушке, потеть в поездах да автобусах, пыль глотать до аллергии. Хотел он с Нинкой «похозяйничать» летом в квартире, порыбачить, нацеловаться, а может, и любовь вдохнуть полной грудью, без оглядки на родителей. Так нет! Мать настояла на своем, зная его непоседливый нрав:

— Поедем в отпуск. Отдохнешь, побудешь у родственников, а то ведь скоро школу закончишь, и такой возможности может больше не быть. И я буду весь отпуск спокойна.

Ехал он с родителями без желания. Хотя с нетерпением ждал последний учебный год, когда он простится со школой и поедет в Питер учиться в пэтэу. Самому пожить хочется. Тянет его по-прежнему уличная вольница. Наслышался от пэтэушников, какие дела они там вершат, и потянуло его в подобную «трудовую обитель», где воспитанники, еще и не взрослые, но уже и не дети, сбиваются в небольшие «стаи» с разным кругом хулиганских интересов — от мордобоя до отнимания денег, когда преступления граничат с детским озорством или мелким расчетом. Мать еще не знает о его желании, а узнает — воспротивится. Скажет, мол, куда тебя одного отпускать с твоими дурацкими замашками.

Но он знает ее отходчивость и верит, что отпустит она его учиться. После училища — сразу в армию, а потом уже надо будет думать о своем месте в жизни.

Вот такой отрезок длиной в четыре-пять лет рисовал в своем воображении Антон. Он обдумывал его уже не один раз, держал от всех в секрете, кроме своей подружки Нинки, которую тоже звал с собой в Питер. От мыслей о приближающейся «самостоятельности» было тепло на душе.

Автобус въезжал в родную деревню Николая Васильевича, вытянувшуюся с двух сторон вдоль дороги. Ухоженные добротные тесовые пятистенки стояли одни лучше других, словно соседи пытались в этом деле перешеголять друг друга. В разрыве одного ряда изб оказалась широкая площадь с единым невысоким холмом в этом равнинном краю, на котором стояла белокаменная церковь.

— Ей уже годков двести пятьдесят, как и деревне. Меня мать, рассказывала тетка, хотела здесь крестить, а потом передумала. Боялась, что деревня узнает, кто мой папа. Так и остался нехристом да и под чужой фамилией. Может, поэтому и пью, что не зафиксировано Богом мое появление на Земле.

— Какой вопрос? Давай покрестим тебя сейчас. В этой же церкви. Только боюсь, что крест не оградит тебя от пьянки. Крест дьяволу не всегда помеха, — возразила ему Любочка.

Автобус шел медленно, и на удивление пассажиров не были слышны ни запахи навоза, ни крики гусей, ни мычанье коров.

Николай словно уловил недоумение Любочки и сказал:

— Видишь, Любочка, это не сибирская деревня, где вся живность по улице бродит. Тут уклад другой. Веками сложилась культура. А посмотри, какие резные наличники. А ворота как расписаны. Чувствуется дыхание Палеха. Все, ребята, подъезжаем. Вот сельсовет. Ничего не забудьте в автобусе. Антон, подарок бабушке на месте?

— Куда он денется! Только в этих унтайках у старушки будут ноги потеть. Тут зима-то другая.

— Другая-то, другая! Может, градусов поменьше, чем у нас, но снегу бывает по пояс, — пояснил Николай Васильевич, выходя из автобуса.

— Пойдемте сначала попьем, — сказала Любочка, увидев колодец, где пассажиры уже утоляли жажду.

Николай вытащил ведро свежей воды, дал попить из ковшика детям, потом жене, а сам помыл руки, сполоснул лицо и только после этого припал губами к ведру. Он пил, останавливаясь, поднимал от восторга глаза к небу и тяжело дышал, будто спешил испить до конца эту живительную влагу земли.

— Такой вкусной воды, наверное, нет во всей России, — захлебываясь, говорил он Любочке и детям. — Пью, и усталость проходит. Вы-то пили ее без души. Мальцы! То-то. Эту воду надо пить медленно, смаковать, чтобы почувствовать ее прелесть. Ведь каждый глоток свой вкус имеет. Вы заметили, что я пил не из ковшика, а из ведра. Ощущение такое, будто в колодце сошлись сотни родников. Из каждого родника по глотку — и силой наливается тело. Родная земля эту силу дает.

— В Дудинке у нас вода не хуже, — запретила отцу Аленка.

— Может, разница лишь в том, что мы ее пьем обесиленную и обесиленную десятками километров труб. Здесь — прямо из родника, насыщенную всеми соками природы, — поддержала Любочка дочь.

Бабушку застали в огороде. Постарела, потоньшала кости Мария Прокопьевна. Лицо в морщинах, словно к истлелости его прутиками. Зелень глаз выцвела, ушла из нее ядовитость, а проявилась непривычная для ее характера приветливость. Седые пряди волос свисали из-под платка, касаясь накинутой на плечи, выдавшей вида, ватной безрукавки. Даже в жару зябкость не покидает старое тело, не дает крови разгуляться по набрякшим, вздувшимся венам. И греют даже воспоминания о прошлом, о своей бурной молодости. Осталась одна-одинешенька на белом свете. Её сестра Марфа в Иваново да сын Николай, но с ними она родичается, кроме, пожалуй, одного-двух писем в год. Правда, соседка Софья, бывшая учительница, навещает иногда, и то не в порядке дружбы, а из уважения к ее возрасту. Годы нивелируют многие вещи. Уходит из человека здоровье, слабеет и его характер. И то, что было сильно в пячено в молодости, с годами теряет свою мощь, уравнивается с другими плоскими чертами характера, появляется замедленность не только в движении, но и в мышлении. А душе постоянно довлеет ощущение жизненного предела.

У Николаевой матери годы скостили свирепость, притупили колючесть характера, заневолели вспышки гнетом смягчили затвердевшие привычки. Хотя, как говорят, своей шкуры не выползешь — не змея.

— Да откуда же вы свалились, дети мои! Хоть телеграмму бы дали. Я настряпала бы чего-нибудь.

И она поцеловала Николая, Любочку. Потом подошла к детям.

— Ну Антона-то я помню, а Аленку видела только на фотографии. В мать пошла, — продолжила она, обняв плечи внуков. — Это же сколько мы не виделись, Николай. Наверное, лет восемь, если не более?

— Не помню. Может и все десять. Ты же не зовешь гости. Покой боишься потерять. Здоровье-то как, мама?

— Как видишь! Пока еще ноги ходят, зубы целы, а зрение ослабло. Читать стала книги, уйдя на пенсию. И пока без очков.

— Пенсии хватает?

— Хватает! А куда мне ее тратить? На наряды, что ли. На рынок не езжу. Картошка своя, лук свой, огурец свой. Хлеб в магазине, а молоко у соседки Софьи беру. Она корову еще держит. Правда, летом польнем отдает. Но я уже нему привыкла.

— Ну веди нас в свои хоромы, а то мы на солнце скотаять начнем.

Мать шла впереди, шаркая резиновыми галошами. Она тановилась у калитки, ведущей во двор, еще раз окинула хозяйским взглядом огород и с укоризной сказала:

— Перебили мне прополку. Видите, все травой заросло. Из-за нее картошки не выдать.

— Не жалей. Завтра возьму в совхозе лошадь и пропью с Антоном. Научу его лошадь водить по междурядьям. Нам дня хватит на твои пятнадцать соток.

Изба, крытая железом лет тридцать назад, осела, нижние венцы ушли в землю, перекосив окна и двери. Печная труба накренилась вправо, словно Пизанская башня, и

ем она еще держится — одному Богу известно. Между притолокой и входной дверью зияла косая щель, а большие стекла рам полопались, и на трещинах лежали полоски нейкопластыря. Изба доживала свой век вместе со старушкой.

— Изба-то в землю уходит. Надо в сельсовет сходить к председателю, чтоб ремонт сделали, а то ненароком придавит, и охнуть не успеешь, — по-хозяйски рассудил Николай.

— А что сельсовет делает? У него ни кола, ни двора. Пес рядом, а путной доски на гроб не сыщешь. А ты заладил: ремонт, ремонт. На мой век хватит. А когда-то мы жили в пятистенке. Мой отец и братья были богомазами. Деньгу имели да и в избе добра хватало. Да вот ваш дорогой дуж и папа Николай, когда ему было три года, спичками сделал пожар, и мы остались без избы. Братья уже имели свои избы да семьи, а мы с моей мамой остались без крова. Потом нам совхоз дал вот эту избу. Добротной и просторной по началу казалась. А потом стала резко стареть и уходить в землю. Да и ухода за ней уже хозяйского не было, поскольку не было в доме мужских рук. А те, что появлялись, не успевали почувствовать себя хозяевами.

— Ну ладно! Тут я сам кое-что подшаманю, Люба побелит потолок, поклеим обои, авось веселее будет выглядеть и изба, и в избе, — сказал сын, входя в сенцы. — А тут совсем темно. Что свету нет?

— Лампочка сгорела еще с весны. В сельмаге пусто, только в райцентре появляются. Просила соседку купить, так вот, жду, когда в райцентр съездит.

Николай зажег спичку и за ручку открыл скрипучую дверь. В нос ударил затхлый запах, напоминающий смесь нафталина, табака и залежалой пыли. Дети, крадучись в темноте, от неожиданности позатыкали носы, а Любочка оставила дверь открытой настежь.

— Пусть проветрятся комнаты. Закупорено все, дышать нечем, хотя здесь прохладнее, чем на улице. Николай, выстави форточку, чтобы сквознячок пошел по всем закоулкам. Чтобы вынес из избы «пыль веков».

Она прошла, осматривая каждую из трех комнат. Пыталась понять, что же изменилось за прошедшие годы в свекровиной избе. Ровным счетом ничего, только все посарело, поблекло и замерло в каком-то непонятном ожидании. Все недоступные свекрови углы были затянуты паутиной, слой пыли покоился на подоконниках, шкафу, телевизоре, фотографиях, висевших на стене.

«Такое ощущение, что здесь никто не живет, — отметила про себя Любочка. — В ходу лишь вещи да утварь, которые ей необходимы, чтобы день прожить».

Ей по-женски стало жаль свекровь. «Жизнь прожила, как коту под хвост. Ничего хорошего не видела. В молодости, судя по рассказам сестры, знала лишь себя, свои похоть да прихоть ублажала. Никто, кроме мужчин, ей не нужен был. Даже собственный сын. Все казалось обузой. Себя лишь любила. К старости любовь к себе кончилась, и в душе больше ничего не осталось», — думала Любочка, осматривая это убогое жилище, и добавила вслух:

— Пустота.

Николай тем временем разжег печь. Разжег сноровисто и быстро, будто всю жизнь прожил в этой избе. Закурилась она после летнего простоя. Мать варила летом свой

нехитрый харч на электроплитке. Дым взлетел к потолку, потом потянулся в открытую Николаем форточку.

— Пусть сначала побесится печь своей копотью. Завтра белить буду. А вы бегите во двор, пока дым вытянет, — обратилась она к детям. — Я потом вас позову.

Мария Прокопьевна у стола споласкивала кастрюлю горячей водой, согретой на электроплитке.

— Никола, сходи в погреб, возьми картохи да баночку грибов. Будем обед варить. Только спички возьми. Там на бочке стоит керосинка. Зажги и увидишь, что где лежит. Правда, лесенка там хлипкая. Не поломайся.

— Мария Прокопьевна, не беспокойтесь. Мы вкусной рыбки привезли, колбаски взяли в Москве да еще кое-что по мелочи. На обед и на ужин хватит. А завтра будем готовить уже по-серьезному, — обратилась к свекрови Любочка, разбирая свои дорожные сумки. Она достала расшитые бисером унтайки. Постучала в окошко сидящим во дворе детям. Вошли Антон с Аленкой.

— Подарите бабушке унтайки, чтобы у нее ноги не мерзли зимой, — протянула она подарок детям.

Они подошли к бабушке, поочередно поцеловали в щеку и, будто стоворившись, одновременно выпалили:

— Носите на здоровье. В них и сорок градусов нипочем.

Старуха с интересом разглядывала меховую обувь и приговаривала:

— Да куда же мне в них ходить. Только в сельмаг за покупками.

Потом сунула руки в голенища и воскликнула:

— Да тут везде мех, мягкий, как пух. Спасибо вам, дорогие дети и внучата.

Стол получился богатым. Дымились вареная картошка, пахло квашеной капустой и копченым муксуном. Николай выставил бутылку «Столичной», по-хозяйски разлил на троих, правда, себе, как мужчине, плеснул полстакана, а женщинам по рюмочке.

— Куда ты, сынок, столько мне налил? Я не пью эту гадость. Уж тут не грешна.

— Ты хоть пригуби, мама, для порядка. Родня ведь приехала.

— Нет, сынок! Век прожила — не баловалась этим зельем. Да и сейчас нужды не имею.

— Ну ладно, мать, твое здоровье. Мы рады, что ты в здравии. За тебя.

Николай чокнулся с Любочкой и с рюмкой матери.

— Сейчас пообедаем — и за работу! Весь хлам, который ты собрала за многие годы, надо разобрать и кое с чем проститься. Все ненужное тряпье в печку, старую обувь, покрытую плесенью на помойку. Шторы новые повесим — Любочка припасла. Одним словом, будем наводить порядок. Не обижайся, что будем ворошить твое гнездо. Покрасим, побелим — веселее тебе жить станет, — говорил Николай матери обо всем, как инструктировала его Любочка. В душе Марии Прокопьевне не хотелось допускать никого к своим «сокровищам», разбирать залежавшуюся годами ее одежду, сдвигать с места почти пристывшие к полу кровати да шкафы. Нежелание делать уборку смешалось со стыдом за себя. Ведь еще только за шестьдесят перевалило, а уже лет пять лень довлеет над ней. Может и не пять, а меньше. Одним словом, как в шестьдесят уволилась с работы, так и

пошла у нее старческая чехарда с жизнью. Много обязанностей с нее свалилось само собой. А без них расслабилась и сразу ощутила свою ненужность в жизни. В душу нет-нет да и втискивалось пассивное восприятие своего жизненного мирка: «День прошел — и ладно». Зато появилось много времени для осмысления части прожитых лет. Уже свои умозаключения она выносила в голове, а высказать их было некому. С чужим — не всем поделишься, осудят за глаза. А вот приехавшим детям и внукам можно. Пусть хоть правду узнают о ней из ее же уст.

Но сегодня не до разговоров. За обедом долго не рассоливали. Домашний кавардак не располагал к беседе.

После обеда в избе закипела работа.

— Мария Прокопьевна, где у вас веник? Надо паутину во всех углах снять. Антон, бери побольше тряпку и выгоняй на улицу мух, а ты, Аленка, принимайся за пыль. Будем сегодня готовиться к побелке.

Старуха ходила по комнате, не зная, куда приложить свои руки, и в душе сдерживала себя от рвущегося наружу негодования, когда двигали с места на место стоявший десятки лет шкаф, когда ее затхлую от долготелетья перину, оставшуюся от матери, вынесли во двор на просушку, когда с ее полатей выгребли кучу пыльного старогохлама и сожгли во дворе. Она пыталась понять, кто же осмелился нарушить годами сложившийся уклад ее жизни, изменить привычный порядок вещей. А выказать свое недовольство не могла. Нет, она не боялась переступить через свой характер. Мария Прокопьевна просто смирилась и сразу почувствовала появившийся свежий ветерок в ее жизни. «Пусть воршат мое прошлое, пусть перетряхнут все то, на чем лежит отпечаток моего характера, моей жизни. Может, от этого я просветлею, душой чище стану», — успокаивала она себя, глядя на дружную работу детей и внуков.

Угомонились они поздно. Изба стала просторной и свежей. Каждая протертая от пыли или вымытая водой вещь издавала свой, только ей присущий запах и имела свой блеск, словно ей открыли поры, забитые годами забвения.

— Ну спасибо, невестушка. Простором теперь в избе вест, словно снова в пятистенку переехала. Все у тебя расставлено по сучкам да по веточкам. Ты мне расскажешь, куда и что положила. А то будет снова лежать до твоего приезда.

— Расскажу. Но завтра работу продолжим. Надо печника нанять, чтобы дымоход почистил и трубу печную выровнял. А потом уж за потолок возьмусь.

— Печник у нас есть. Золотые руки, но пьяница. Я думаю, Николай с ним дотолкуется.

И они легли спать. Взрослые на кроватях, а дети на полу. Засыпали под ритмичную мелодию сверчка.

Домашние заботы поглощали отпуск день за днем. Зато ожила изба и огородом, и двором, и крышею. Везде проявлялась жизнь в ранее умиравшем подворье. Вроде и неживое существо изба, а чувствует она людей, ими она живет, через них она определяет свою нужность. Вель каждое промытое окно, каждый покрашенный наличник, каждая подсыпанная завалинка да выровненная перекосившаяся было дверь поддерживают ее здоровье, добавляют ей красоты да уюта. Старуха иногда выходила на улицу, садилась на соседскую лавочку и как бы со стороны наблюдала, как оживает и хорошеет ее изба.

— Эх дура я, дура! На что я жизнь свою разменяла. Радость-то, оказывается, в детях да во внуках, а не в бирючестве. Словно болотной тиной я была затянута всю жизнь. А сейчас чувствую, будто свежий ветерок среди тины разводья высветлил. Я словно водички чистой хлебнула, — в сердцах говорит она сама себе и роняет на свою безрукавку выкатившуюся крупную слезу.

Приближалась пора отъезда гостей в Старый Оскол. Уже появилось время и для отдыха. Любочка с детьми ходила в лес, на речку, а Николай, угостив председателя сельсовета и печника водкой, сумел с их помощью подладить крышу, прочистить камин и выровнять трубу. Правда, работа шла неспеша, вперемежку с выпивкой и перекурами. Но наскучила Николаю работа, и он, обессилев от долгого непития, ушел в запой. Мать ругалась, стыдила его, укоряла за безволие и несдержанность. Однажды за обедом мать снова зацепила Николая.

— Вижу, Никола, ты по-прежнему охоч до водки. Как ты, невестушка, столько терпишь? Я с таким, как он, не жила бы и месяца.

Николай искоса зыркнул на мать и зло сказал:

— А с какими ты только не жила? И никто с тобой не ужился. Хоть ты и не пила, а характеры у нас схожи: эгоизм душу гложет.

— Грех, Николай, мать осуждать. Вель она тебя на свет божий произвела, — вмешалась Любочка.

Мария Прокопьевна вздрогнула всем телом, потом поморщилась, сдерживая себя от назревающего скандала, и миролюбиво продолжила:

— Обидно, сынок, мне слышать твои упреки. Я, как и ты с Любочкой, всю жизнь пыталась найти свое счастье. Для себя только. Думала, его и так мало, зачем же его с кем-то делить. Шли годы, а оно так и не находилось. Я и сейчас не представляю, какое оно. А может, зря я себе душу томила надеждой. Себя лелесяла, готовила к счастью. Да, как говорят, сам на себя не наладуешься. А несчастье озлобил меня. Я и тебя, Николай, считала всегда помехой. Сейчас уже могу тебе открыться. Я и рожать-то тебя не хотела, пыталась сгубить на корню. Как говорят, первых шенят за забор мечут. А ты все-таки выжил в утробе. Теперь живешь да водку пьешь.

— Мне твоя сестра давненько рассказывала об этом. Жестокость в твоём нутре до сих пор жива. Я помню, как ты меня выгнала, когда мы разбежались с Любочкой после Брянска. Без копейки выгнала. Я считал, что теперь к тебе моя дорога заказана.

Мать слушала сына, нервно теребя уголок косынки. У нее не было желания оправдываться, перекладывать свою вину на обстоятельство. Она с возрастом уже научилась укрощать свой нрав.

— Зря ты так думал. Неправа я тогда была. Я была еще в здоровье и в силе и нередко рубила сплеча. Не рассуждала. Не только по Николаю. Много ошибок допустила.

— А что? Не с кем и посоветоваться было?

— А с кем? Когда мать умерла, осталась я совсем одна. Не встретила я мудрых людей, у которых можно просить совета. Вот и шла напролом. У меня столько было силы и напора, что, казалось, все ненавистное мне сокрушу на своем пути. И крушила до самой пенсии. И Николай, и ты мне под руку попали. Поздно оглянулась, а сзади меня од

ни развалины. Вперед посмотрела — тупик. Куда шла всю жизнь — так и не поняла. А вы появились и сняли паутину не только с углов избы, но и с моего сердца, стерли пыль не только с моих причиндалов, но и с моей грешной души. Теперь я начинаю понимать, что такое счастье. Так оно — это вы, это ваш приезд ко мне. Я, может, впервые в жизни ощутила его.

— Значит, не зря мы к вам нагрянули, коль очищение на вас нашло, коль породнились мы как бы заново? — обрадовалась Любочка откровениям свекрови.

Николай сидел молча, опустив голову, и уже не вмешивался в разговор двух женщин. Ему давно хотелось выпить, но затянувшийся за столом разговор мешал вклиниться с тостом.

— Ты, Любочка, на меня не сердчай! Не приняла я тебя сразу, как невестку. Другая у меня была на примете. Может быть, ту и приветила бы. Но Николай выбрал тебя. А коль пошел против моей воли, то я воспротивилась. Сейчас же вижу, что ты терпелива к нему, что ему постоянно женский глаз нужен. Спасибо тебе, что ты заменила ему мать. А я... А я так и не стала ему матерью. Судьба моя свернула в тупик. Назад уже годы не пускают, а впереди — уже догорела свечка до полочки.

Она глядела на невестку зеленоватыми, но уже мудрыми глазами, виновато склонив голову набок и как бы прося прощения. А Любочка вытирала сбегающие по щекам слезы, вызванные откровением свекрови. «Да, годы смягчили ее, коль других людей стала хоть чуть-чуть понимать», — подумала Любочка, вытирая большим пальцем мокрый след на левой щеке.

— А тебе я скажу, Николай, — обратилась мать к молчавшему сыну. — Тебе уже перевалило на пятый десяток. Я тебя не воспитывала и не собираюсь. Я плохо знаю тебя. Но вижу, что человек ты сложный. Любочке одна морока с тобой. Пить будешь — бросит она тебя. И останешься ты один у разбитого стакана. И не хай ее. Она и так тебя терпит столько лет. Как в той поговорке: видели очи, что брали к ночи.

— Да я с ней-то мирюсь! А вот как подопись, то места, говорят, никому нет. Ни Любочке, ни детям. Я плохо помню, что творю, когда в запое, — оправдывался Николай.

— И бил, и душил уже несколько раз. И с балкона чуть не выбросил. Еще и по подружкам-алкашкам таскается, — жаловалась Любочка матери. — Трезвый — человек, как человек, а выпьет — говнюк настоящий. Спасу от него нет.

Мать, слушая, качала головой и с укором смотрела на сына. А он смотрел на нее осуждающим взглядом, молчаливо обвиняя в своих пороках сидящую перед ним мать.

— Не сдала бы в детдом, может, я другим бы человеком стал. Не алкашом. Обузой я тебе показался. А теперь еще меня упрекаешь. Ты фельдшер. Сострадание должно быть к людям, не говоря уже к собственному сыну.

— Сострадание, говоришь, сынок. Не дал мне диплом фельдшера сострадания. Оно не выдается, оно в душе вызревает. А больные вызывали у меня лишь чувство презрения к ним. Сама я никогда в жизни не болела, поэтому и не смогла понять их боль. Видишь, ни один зуб еще не потеряла, вот только телом чуть сдала да ноги притомились. Уйдя на отдых, книги стала читать запоем. Осмысливать прочитанное. Судьбы, похожие на мою, в книгах встречала. Ночи

не спала, копалась в себе, искала причины своего несчастья. И, вы знаете, нашла. Одна из них — ты, Николай! Как сдала тебя в детдом, так и пошло все наперекосяк. Но это уже сейчас поняла, в душе покаялась, легче стало. Вроде, от чего-то тяжелого освободилась. Многие вещи по-другому воспринимать стала. Доброту у себя отыскала. Оказалось, что и у меня она есть. Правда, поздновато я ее раскопала. Вам ее отдам, а то сельчане ее не замечают. Насолила я им в свое время. Сейчас хоть пряником обернись, а сладкой им не буду.

Любочка сочувственно кивала головой, слушая свою, некогда грозную, свекровь, и думала: «А ведь не зря говорят, что время лечит».

Николай же, не ожидая окончания разговора, молча чокнулся с Любочкиной рюмкой, выпил одним глотком и громко крикнул, закусывая капустой.

Уезжали они ранним утром. Старуха суежилась во дворе, подходя к каждому из гостей, что-то спрашивала, что-то советовала, заглядывала в глаза, словно хотела удостовериться, а с добрым ли настроением уезжают от нее невестка с сыном и внучата. И ни ремонтом избы, ни уборкой, ни заготовкой дров и прополкой огорода тронули они душу Марии Прокопьевны. Нет! Просто она поняла, что теперь на свете не одна, что тупик, страшно темневший у нее перед глазами последние годы, разобран ее детьми и внуками, и она теперь видит и знает, ради чего стоит жить.

35

В Хорошилове хворь всю весну одолевала Семеныча. Полежит, чуть оклемается и опять во дворе вертится. Огород с Анной Афанасьевной кое-как посадили, правда, Виктор с Зиной помогли. А здесь поливка подошла. Колодец, что стоит в переулке между огородами Заречневых и Христоса, стал давать сбои. Много воды уходит на огороды, да еще жара стоит невероятная. Зелень только силу набирает, дождя требует, а тут нет-нет да ветер как задует, пыль соберет и хлестанет по листьям да по завязям песчаной россыпью. Вздохнет Семеныч, поматерится вслед понесшемуся ветру — да снова к колодцу. А Христос уже тут как тут. Пока колодец наполняется водой — сидят старики на ведрах да покуривают. Христос, низкорослый, жилистый, седоусый мужик, с хитринкой в прищуренных глазах, хвастливо достает пачку сигарет с фильтром (сыновья с города подкинули), закуривает сам и предлагает Семенычу.

— Давай, Семеныч, нерусских попробуем. Чей-то они с виду культурные ишо с фильтром.

— Нет, Христос, слабые они, а фильтр весь вкус забирает. Давай-ка мне тогда еще одну, коль щедрый. Я трубку ими набью. Попробую, чем они пахнут.

И сидят они, покуривая в тенечке, отдыхают между делом да разговоры всякие ведут.

— Тут врач мне наемни говорил: бросай, дед, курить. Бронхи забиты никотином, как печные трубы копотью. Вены на ногах вздулись. Поэтому и мерзнут почем зря. А я ему в ответ: «Эх, сынок, — говорю, — курить я еще мальцом начал, а шас мне шестьдесят девять. До смерти, мол, еще как-нибудь докурю. А ноги... Устали они от ходьбы. Войну прошел от Монголии до Венгрии. Хоть и шоферил, а ноги по-

коя не знали. Видно, в обиде теперь на меня, что смолоду их не жалел».

Христос беззвучно засмеялся, обнажив два ряда железных зубов.

— Правильно, Семеныч, ты его отбрил. По-нашенски. Молодой ишо стариков учить.

Христос затянулся сигаретой, кашлянул и посмотрел на желтоватый дымок, струйкой вытекающий из конца окурка.

— Ты глянь: дым желтый, как японский самурай, а на вкус трава болотная, а не табак, — возмутился Христос. — Я тут своим городским невесткам сказал: хотите быть сытыми зимой, потчуйте огород летом, а то разьелись, как телки, что до бурьяна дотянуться не могут. А сигареты вот такие смоят. Говорят, с фильтром модно. Я ведь в кулак не говорю. Сказал прямо в лоб: хватит надеяться на меня да на бабку. Привыкли на готовенькое. Сейчас хоть появляться чаще стали. А твоих, Витьки с Зинкой, что-то не видать.

— Как в апреле были — и все. А теперь ждут, когда мы с бабкой урожай соберем. Чует мое сердце, что не придется мне его собирать. Что-то совсем придавило меня. Как бы нынче на погост не унесли.

— Да ты что, Семеныч! — пытался увести Христос от мрачного разговора. — А что врач сказал насчет водочки?

Семеныч затянулся трубкой, грустно улыбнулся и еле заметно кивнул головой.

— Это, сказал, можно. Грамм по двадцать пять перед едой для очистки артерий. Очень, говорит, помогает.

— Так может, Семеныч, по капле глотнем. У меня в огороде спрятана. Давай, пока моя в сельмаг убежала.

— Нет, Христос, жарко. Я тогда совсем скопычусь. И так ноги еле носят. Давай вечером, после поливки. Надо еще воды в баню наносить. Любочка завтра приезжает на пару дней. В командировке. А баню она любит с детства. Я ведь, где дом строил, там и баню лепил. Детей-то много было. Да ладно уж, Христос. Ты приглядиись к моим сливам. Красавицы. Первые роды в этом году. А малина — что надо.

— Я наблюдаю за твоими мичуринскими делами. Ты их не забывай водичкой тоже потчевать, чтобы налив хороший был.

— Да они у меня, насчет воды, всегда перед глазами. А потом уже помидоры, огурцы, капуста. Христос, ты уж не скучай без меня. Я схожу полежу чуток дома. Грудь заболела, словно на иголки ею наткнулся.

И он ушел, громыхая резиновыми сапогами.

Но не лежалось старику. Анна Афанасьевна хлопотала на кухне, двигалась тихо, чтобы не тревожить мужа. А он лежал и тупо смотрел в потолок. В уставших глазах нет-нет да и мельтешило. Дышалось трудно. Испарина покрыла землистое лицо. Седые, с прозеленью, усы и борода напоминали еловый мох.

— Нюся, — позвал он жену. — Завтра банька. Натрешь мне ноги муравьиным спиртом. Гляди полегчает.

— Натру. А сейчас съешь ложку настоя.

И она принесла ему мед со столетником.

— Ладно. Пора подниматься. Христос уже, наверное, огород полил. Пойду я баньку приготовлю.

Он наносил с колодца воды, нащепал лучины. Сложил ее в печку, чтобы по приезде дочери только спичку поднес-

ти. Подмел предбанник, положил возле кадки с водой два березовых веника, повесил на гвоздь сухую мочалку. Потом зашел в избу и спросил у Анны Афанасьевны:

— Как там квасок? В порядке?

— В ямке стоит. Холодненький. Достать попробовать?

— Нет! Пускай, завтра с дочерью попью после баньки. Пойду-ка я, Нюся, огородом займусь.

Семеныч медленно шел мимо слив. Жара спадала. Со всем рядом, на сливе, спрятанная листьями, тревожно стояла горлица. Услышав его шаги, она умолкла и затаилась. А у Семеныча возникло шемящее душу чувство, что скоро расстанется он и с этим садом, посаженным его руками, и с этой банькой, и с этим неглубоким колодцем, который не раз уже чистил с Христосом, и с этой горлицей, снова издававшей звуки своей грустной песни. Расстанется со всеми, кого он любит и кто любит его. Он жадно присматривался и прислушивался ко всему, словно боялся что-то забыть. Ему казалось нелегким оставлять этот прекрасный мир да и не верилось, что после него также будет зеленеть сад, также будут петь птицы, также его любимая Нюся будет хлопотать на кухне, Любочка приезжать в отпуск, а Христос, дымя папиросом, будет набирать воду из колодца. А осенью снова съезжата без листьев деревья, покроется инеем колодезный сруб и унесут стаи птиц уходящее на юг тепло. И кто-то другой будет сгребать в кучи и жечь опавшие листья, высохшую картофельную ботву и вдыхать прелый запах вьющегося над огородом дымка. И у кого-то другого будет радоваться сердце, что и в саду, и в огороде чисто, и земля готова к долгой зимней спячке.

Из раздумий Семеныча вывел голос Христоса.

— Семеныч, давай я тебе подсоблю огород доплескать. Обильно пошла вода в колодце.

Христос поставил Семеныча у сруба.

— Ты воду доставай, а я носить буду. Хай твои ноги чуток отдохнут.

Когда солнце докатилось до Потудани и скрылось за лесом, они закончили поливку. Христос снял сапоги, вылил из них воду.

— Да че ты так облился, будто озеро переходил? — усмехнулся Семеныч.

— Вроде старалси ведры осторожнее носить, а все-таки за голенища нахлопал.

Они сели за столик, обсаженный вкруговую сливами. Христос достал из травы заранее спрятанную бутылку, два пыльных стакана, полбулки хлеба, зеленые перышки лука. Сполоснул в ведре с водой стаканы, накрыл столешницу листьями лопухов и выложил все припасы на стол. Открыл водку, плеснул в стаканы и сказал:

— Ну давай, Семеныч, чтобы хворь прошла да чтобы урожай не засох на корню. Я думаю, сто грамм тебе не повредят.

Выпили. Семеныч вытер тыльной стороной ладони губы, разгладил бороду и грустно ответил:

— Раньше мне и килограмм не вредил, а сейчас вкуса ее не чувствую. Даже лук луком не пахнет. Видно, я уже не выкарабкаюсь.

Христос, видя расстроенного друга, спрятал оставшуюся водку, стаканы в лопухах, специально не срубленных Семенычем на меже.

— Ты завтра заглядывай! Дочь приезжает. Она у меня говорливая.

— Добре, забегу. Да вот задница побаливает. Сидеть неловко. Проклятый Борька рогами звезданул.

— Вот ведь, рогатый, как отблагодарил. За то, что ты его пестовал.

— Да его не столько я, сколько курица. Ты же видел. Та на яйцах сидела и он рядом с ней, как евнух, лежал да ходил вокруг нее. Худенький, на тоненьких ножках. Квочка цыплят вывела, стала учить всем тонкостям жизни и козленка с ними. А когда тот подрос, стал спать на кровати со мной. Бабка на ругань вся сошла. А он был такой смиренный да покладистой. А вырос — словно сдурел! Уже бабы в деревне на него жалуются. Как какую узрит, так и несется стремглав, словно перед ним коза. А тут и меня, своего благодетеля, угораздил рогами в зад, что в глазах потемнело.

— Разрядиться ему надо, а козам еще не сезон. Вот он и мечется по деревне, баб шугает. Порода чертеночек чувствуется. А почему тебя, Христос, подцепил — непонятно. Видно, чем-то докучил скотине.

— Он домотается, что я его кастрирую. Тогда и пыл его угаснет. Да жалко. Мужик все-таки.

С утра Семеныч уже возился с баней. Густой едкий дым молоком сочился сквозь каменку, скопился у потолка и спускался к полу. Щипало глаза, першило в горле. Дважды подкидывал в печь, чтобы прогреть, как следует, баню. Дым понемногу рассеивался, а огонь весело лизал камни. Вода в котле едва не кипела. Когда угли прогорели и выветрился угар, Семеныч прикрыл тягу.

А тут и дочь появилась. Не успела она перекинуться с матерью несколькими словами, как отец повел ее в баню.

— Иди, доченька, с устатку попарься по первому жару. Я веники замочил еще вчера.

Любочка любит париться. Еще в Кемерове она раз в неделю ходила в парную, а в Дудинке — в сауну желдорце-ха вместе со своей подругой Ольгой Павловной. Это она приучила ее мыться в сауне не мочалкой, а одежной щеткой. По три часа обихаживает Любочка в сауне свое тело. Сначала березовым веником, холодной да горячей водой, а потом одежной щеткой с мылом сгоняет всю испарину. И так до тех пор, пока кожа не начнет поскрипывать.

В бане пахло березой. В углу на полочке стояли пузырочки с нашатырным и муравьиным спиртом. Каждую весну Семеныч собирал майских муравьев и выжимал из них спирт, которым Анна Афанасьевна натирала ему после мытья ноги.

— Папа, что эта растирка помогает?

— Помогает, но ненадолго. Ломоту в костях снимает да кровь лучше гонит. Короче, тут все под рукой. Закрывайся и мойся. Потом мы с матерью. А после Христос со своей старухой.

Любочка намочила волосы, плеснула на полку воды и села, чтобы привыкнуть к жару. Она сразу ощутила приятную расслабленность во всем теле.

«Какая благодать!» — подумала Любочка, чувствуя, как дорожная усталость медленно покидает ее тело.

Она плеснула на каменку из ковшика. Зарокотало, зашипело, потом словно что-то взорвалось.

Любочка затихла в ожидании горячей волны. Напряглась всем телом, чтобы волна не застала ее врасплох.

И вот уже окатил ее пар, обжигая все выпуклости ее тела. Она прикрыла руками уши и почувствовала, как в нос ударила знойная сухость и резче запахло веником. Потом она достала его из калки, стряхнула капли воды на камни и начала хлестать себя до красноты. Хлестала и думала об отце.

«Худющий стал, в чем душа держится. Да и лоб желтизной отблескивает. Не зря мать говорит, что дела плохи. А может, еще выкарабкается, как тот раз. Хотя вид его меня пугает».

Потом она вышла в предбанник, вылила на себя ведро холодной воды и, вернувшись в парилку, вытянулась на полке, вдыхая всем телом колющий жар.

Она вышла из бани в халате и в полотенце, накинутом на шею. Уличная жара показалась прохладой после парной. Легкий ветерок обдувал покрытое каплями пота лицо. В сливовой беседке, спрятавшись в тени и карауля ее выход из бани, сидели отец с Христосом.

Увидев Любочку, они дружно поздравили ее с легким паром.

— Спасибо! И здравствуйте, Петрович! Как живете-можете?

— Слава Богу, Любочка, пока ноги носят, — ответил Христос, выглянув из беседки. — А ты-то в гости надолго?

— Да нет! На пару деньков вас проведать.

— Отец-то вишь хворает. Мать еще суетится, а отцу трудней да трудней.

— Вы, Петрович, хоть поддерживайте их по-соседски.

— А как же! Мы с твоим отцом теперь друзья до гроба. Как братья родные.

— Ну, хорошо. Пойдемте, Петрович, пообедаем с нами.

— Нет, Любочка, спасибо. После баньки поужинаем.

— Тогда до ужина, там и поговорим.

И она направилась в избу.

— Ну, как банька? — спросила мать.

— Отличная! Попарилась от души!

— К нам, доченька, полдеревни ходят мыться. Бани-то нет. Это отец их приучил раз в неделю баньку принять здоровья ради. Даже батюшка с матушкой мылись.

Любочка вытерла лицо полотенцем, хлебнула из кружки квасу и присела на табуретку.

— Ма, а что врачи говорят?

— Говорят, что у него много болезней. Ранение, контузия. Месяц в больнице пролежал. Улучшения нет. Они что-то скрывают, а отец тает на глазах. Да и настроение у него подавленное. Все мне твердит: «Нюся, земляца зовет». Не ложится ему. Везде хочет успеть, а силенок уже маловато. Устает. Правда, Христос подсобляет. Друзья — водой не разольешь. Пытается отца от болезни отвлечь, то шутками, то серьезным делом.

Семеныч вошел в избу.

— Нюся, а дай-ка мне мой жилет. Чей-то знобит малость.

— Да ты что, Митя! На улице жара. Соседские куры в холодке в землю от нее зарываются, ртом воздух ловят. А тебя знобит. Даже птицы умолкли. Одни ласточки мотаются да мошкарку ловят, как перед дождем.

— Да вот дошел до того, что уже никакая одежда не греет, как в той поговорке: до тридцати лет греет тело, после тридцати — рюмка вина, а после — и на печке холодно.

Потом надел жилет, пригладил бороду и присел на кровать.

— Нюся! К вечеру Христос с бабкой помоются и на ужин зайдут.

— Это я успею приготовить. Давай-ка, собирайся в баню. Я тебе ноги потру.

— Отдохну малость и пойду мыться. Ну, как, дочь, твои дела? Как там Север? Может, зря уехали из Сибири?

— Да потихоньку, папа! Антон заканчивает десятый, будет поступать в Ленинграде. Переживаю за него. Ершистый такой. И водочку уже пробует, и курит, и драку не обойдет. Аленка — нормальная девочка. По-прежнему тапцует. Хочет дальше учиться по этой линии.

— А зятек-то как? Пьет или за ворот льет?

— За ворот льет. Спивается. Сраму из-за него столько. А он — стыд под каблук, совесть под подошву. Квартиру получили двухкомнатную. Зарплата устраивает. Правда, работа у меня с утра до ночи. Но это все терпимо. Вот с Николаем уже нет терпения. А ты — то что захандрил? Сейчас вам только жить. Пенсии хватает. Дети все при деле. Тут же красота какая! Лето, весна и осень — весь день на свежем воздухе.

Семенычу стало грустно от Любочкиных слов: «Сейчас вам только жить».

— Да все правильно, дочь! Вот только здоровье мое всякля, как вода в колодце. Думал, еще годков пять протяну, а теперь засомневался. В городе так давно бы уже помер от лежачки, а тут заботы заставляют жить. С огородом как займусь, ведер сто воды перетаскаю. Гляжу, лучше стало. Ноги прочней начинают себя чувствовать. Да об чем говорить: там постучал, там подстрогал. На каждый день есть работа. Пусть мать скажет. А зимой — другие заботы. Пока на боку не лежим. Лежебоки в деревне — не в почете. Как говорят: «Хорошая ежа не придет лежа».

Любочка заметила, что у отца изменилась походка. Ходить он стал тяжело, наклонив голову вперед, почти не сгибая ноги в коленях. Ходил, правда, без палочки, потому что руки всегда заняты то ведром, то метлой, то молотком.

«Да, что-то здесь не то. Видно, что и возраст, и болезни все сильнее и сильнее клонят папу к земле. Помню, три года назад приезжала в отпуск, так он был хоть куда. Правда, ноги барахлили. Тогда он был похож на уставшего человека, а сейчас на старика. После шестидесяти старение, видно, идет, как стаж на Севере, год за полтора», — грустно смотрела Любочка на сидящего на кровати ссутулившегося отца.

Через два дня утром проводили ее на маршрутный автобус Потудань — Старый Оскол. До остановки шли пешком по широкой проселочной дороге, окаймленной с двух сторон высоким бурьяном. В небе — ни облачка. Воздух наполнен запахами трав, гудением пчел и майских жуков.

— Ну спасибо, мои дорогие! Дальше я сама дойду до остановки, — поставила Любочка сумку на землю и еще раз оглянулась на утопающую в зелени деревню.

На выгоне паслись несколько привязанных телят и две козочки, сестрицы козла Бориса. Сквозь листву деревьев виднелись купола сельской церкви.

— Возвращайтесь! Вон уже асфальт виден, — настоятельно обратилась Любочка к старикам.

— Нет, доченька! — вмешался Христос, поблескивая металлической улыбкой и помахивая хворостиной. — Посадим на рейсовый — тогда вернемся. Я тебе обещал за ужином проводить?

— Обещали.

— Вот я и выполняю обещание.

Козел Борька лениво брел за своим хозяином, иногда фыркая, тараша глаза на кружащийся перед его мордой рой ос.

Отец и мать молча шли по утрамбованному машинами проселку. Никто из них не знал, что это последняя встреча Любочки с живым отцом. Подошли к развилке. Христос привязал Борьку к дорожному указателю. Тот рванулся, почуввав привязь, стал на дыбы, перебирая воздух передними ногами.

— Ты что ерепенишься, как гаишник на посту? Смотри, а то под машину попадешь. Это тебе не дома, — наставлял козла Христос.

Семеныч угостил его махоркой, и сизый дымок повис в воздухе, словно марево. А сам курил с какой-то особенной неспешностью, с тем наслаждением, с каким затягивается махоркой, быть может, только фронтовик. Теперь все молчали, словно обдумывали ритуал расставания с Любочкой. Она заметила, как отец стал раз за разом потягивать трубку, чтобы урезонить сдавившие горло спазмы. Он не плакал, но с нижних век скатывались разрезанные ресницами слезы и терялись в бороде.

«Ни разу в жизни при расставании он не плакал, — отметила про себя Любочка. — Видно, чувствует сердцем, что больше не увидимся».

А где-то в деревне снова застонала горлица.

Отец умер в июне. Умер, выписавшись из больницы, в своей четырехкомнатной квартире, оставленной дочери и зятю. Прилетели хоронить Гришка, и Люся, и Любочка. Правда, живым застала его лишь Люся. Вроде, все и ожидали, что не сегодня — завтра отец отойдет. А когда умер — под рукой ничего не оказалось. Ни свечек, ни белого сатину, ни костюма, ни обуви. Виктор кинулся к куму Николаю, родители которого были после войны постояльцами у Семеныча в Новом Осколе. Рыжеволосый кум, поблескивая передними зубами с напылением, чуть заикаясь ответил:

— Нет вопросов. Чем смогу — помогу. Семеныч моих родителей когда-то приютил. Я перед ним в долгу.

Он был начальником стройучастка, сел на телефон и в течение часа решил вопрос по могиле, по машине и по доскам для гроба.

А среди съехавшихся детей царил паника и уныние. Гришка лил слезы, как маленький ребенок. Люся ходила по избе, хваталась за сердце и не знала, за что взяться. Виктор обмыл Семеныча, одел на него новую рубаху, костюм и туфли, купленные Зиной. Но это были редкие всплески нужной работы. И тогда Любочка собрала всех вместе и сказала:

— Мы все любим отца, но сейчас слезы ни к чему. Надо сдерживать себя и заниматься делом. Давайте вспомним подробности его жизни, его характер. Он никогда не уны-

вал. Всегда был веселым и балагуром. Ему легче будет лежать, если мы меньше будем лить слезы.

И она вспомнила случай, как отец, живя в Сибири, продал цыганам козу. Гришка вспомнил, как отец их кормил, когда мать лежала в больнице, а Люся рассказала, как отец хотел подгулять со своей кумой, вдовушкой Настей. Вскоре у детей поубавилось уныния, и появился настрой на работу.

— А теперь по делу. Вот у меня под рукой записано все, что нам необходимо сделать по похоронам. Хороним в Хорошилове, как хотел отец. Я дам каждому задание, и давайте двигаться. Деньги у мамы, остальные вопросы решайте со мной. Вечером подобьем бабки: что готово, а что нет.

Хоронили Семеныча всем селом. Хоть и недолго он здесь прожил, но пришлось по душе всем селянам за безотказность в помощи и веселый нрав.

В избу не заносили, там негде развернуться. Поставили гроб во дворе. Анна Афанасьевна сидела у изголовья и отгоняла мух, нагло садившихся на лицо покойного. Легкий теплый ветерок чуть шевелил седые волосы на голове Семеныча, словно спасая его от жары, а из сада доносился грустный голос горлицы.

Похоронная процессия во главе с Христом, несшим деревянный крест, сделанный им без единого гвоздя, прошла часть села, потом повернула налево мимо сельской обшарпанной церкви и вошла на кладбище, где в тени ветвистых деревьев, среди кустарников и дикой травы виднелись вековые и свежие могилы. Отец Василий вышел из церкви, подошел к покойнику, трижды обошел вокруг него, размазывая кадилом и причитая: «Господи, помилуй раба божьего Дмитрия». Дым окутывал гроб с усопшим, создавая над ним прозрачную голубую ауру и ограждая его навсегда от всех бед земных.

36

Говорят, старики, прожившие в ладу долгую жизнь, поодиночке долго не живут. Как только уходит в землю один из них, то оставшийся жить начинает ощущать страх одиночества. Ему или ей начинает казаться, что внезапно отнялась какая-то часть тела, и потребность в жизни затухает наполовину. И уже ни дети, ни внуки не способны заполнить возникшую пустоту, оттого что не вписываются в сложившийся годами уклад жизни стариков. И эта условная моральная пустота втягивает в себя все горести одинокой жизни: и никому ненужность, и нездоровье, и беззащитность. Человек увядает, омраченный тоской об ушедшем друге.

Так и мать Любочки пережила отца всего на пять лет. Года через три после смерти Семеныча, Виктор с Зиной забрали мать в город, землю со всеми постройками продали, отдали долги и остались почти ни с чем.

Любочка, Люся и Гриша повозмущались их ухарством (ведь землю с избой купил отец), но долю за продажу требовать не стали. Только Христос матерился, когда узнал, что Виктор лишился куска земли.

— Профукали молодые! Жаль! Столько труда вложил Семеныч в эту землю! А для кого он старался? Вам же хотел добра! — костерил Христос приехавшего зятя. — Хоть Бога бы боялись.

А Виктор, получив деньги, потряс ими перед лицом старика, и сказал бахвалисто:

— Не волнуйся, Петрович, я в другом месте не хуже участок оторву.

И не оторвал. Попал в безденежье. Перегонял с сыном машины с Белоруссии, толком ничего не заработал, но открыл мастерскую по ремонту автомобилей. Принял на работу двух спецов, сына взял учеником — вот и ковыряются они в старом бесколесном вагончике, если есть заказы. Тяжело, но пока держатся. Иной день густо, а иной — пусто.

А Анна Афанасьевна угасала на глазах. Сходя в магазин да приготовив обед, она поначалу читала книги, ходила в церковь да смотрела телесериалы, но никак не могла избавиться от тяжких дум. Она нередко уходила в свою комнату, часами сидела с замороженным взглядом, направленным куда-то внутрь себя.

И Зина, и Виктор, и внук Данилка по очереди ухаживали за больной старушкой. Приглашали на консультацию врачей, нанимали соседку-медсестру делать уколы, поили дефицитными лекарствами, но улучшения здоровья не наступало. Инсульт не отступал. Зина звонила и Люсе, и Любочке, просила помочь ей в уходе за матерью. Любочка приехать не смогла, а Люся приезжала, когда агитировала белгородцев голосовать за кандидата в президенты Амангельды Тулеева.

Мать же нередко проваливалась в беспамятство, порой не узнавала ни дочь, ни зятя, ни внука. Она невнятно бормотала слова. Нет-нет да и возникал в ее больном воображении образ покойного мужа. В минуты просветления, она, тяжело связывая слова, говорила Зине:

— Сегодня отец приходил. Сидел на своей кровати. Разговаривал со мной. Звал к себе. Я сказала, что чуть окрепну и приду.

Она умерла накануне Дня Победы. Приехали военкомовцы, принесли поздравительную открытку, цветы, сувенир и немного денег. Все оставили Зине и просили поздравить ветерана войны от имени администрации города. Спросили о здоровье, о пенсии и о нуждах бывшей фронтовички.

— Все было в порядке, — ответила Зина. — Но вот уже полгода после инсульта дела совсем плохи. Как отца похоронила, так и захандрила мама. Стала молчаливой и задумчивой. Все в себе переносила. Не давала выхода эмоциям. Чего-то не стало ей хватать в жизни. Видимо, отца. В итоге, инсульт.

Они попросили, в случае необходимости, обращаться к ним. Зина проводила гостей, собрала со стола подарки, на цыпочках подошла к комнате и открыла дверь. Мать лежала головой к открытому окну. Ее бескровное, бледное лицо казалось маленьким, как у девочки, а ресницы будто удлиннились. Резче обозначились складки у запекшихся, брезгливо сжатых губ, будто она собралась плакать, а левая высохшая рука, словно повиснув в воздухе, лежала на груди.

С улицы доносился скрежет трамваев, шуршание автомобильных шин и воркование влюбленных голубей, сидящих на балконе. За окном продолжалась жизнь.

Мать хоронили рядом с отцом. Отпевали Анну Афанасьевну в деревенской церкви, куда она любила ходить на престольные праздники. На кладбище было немного людей. Из детей покойной была лишь Зина.

Продолжение следует.

Юрий МИРОНОВ

Родился в 1940 году на Ярославщине. Десять лет прожил на Таймыре. Автор поэтических сборников «Первый поезд», «Гулкие параллели», «Сила Севера» и книги прозы «Зачем живем на белом свете?». Член Союза писателей России. Живет на Украине.

В ТАЙМЫРСКИХ ДАЛЯХ*

(картины северной жизни)

Карское побережье. Артель «Белый медведь»

1

Никифор Алексеевич пришел домой поздно: засиделся у Червякова в исполкоме, обсуждали «План артельного развертывания промысла на Карском побережье».

Как и инспектор Туруханского края Елизар Савельев, Червяков был полным сторонником бегичевской идеи — «смелая и в ногу с нашей кооперативной политикой».

Однако работники самой кооперации головами покачивали — непосильно, рано, рискованно...

Бегичев их ответы истолковывал проще: не хотят лишнюю обузу принимать...

Но на одну артель «добро» было уже официальное — договор с Губсоюзом. А название артели имелось уже в думках Никифора Алексеевича давно — «Белый медведь»...

Дома, отказавшись от предложенного Анисьей ужина, он выложил на стол из кармана исписанный лист, расправил его ребром ладони — «Пояснительная записка в правление Губсоюза». Ее-то и носил показать Червякову, а теперь надо переписать набело.

Текст записки Червяков одобрил. Считал ее дельной и сам автор, особенно заключительную часть: «...В окружности устья реки Пясины, на побережье океана по направлению к Диксону и по самой реке Пясине — всюду мне встречались табуны дикого оленя и множество песцовых гнезд, так что все указанное мной в настоящей записке считаю не рекламой, а действительным фактом, который говорит за то, что наша группа по всем моим данным должна с успехом выполнить возложенное на нее промысловое задание и стать в дальнейшем примером для всех промышленников Туруханского края...»

«Да и начало толковое, — не без довольства собой прикашлянул Никифор Алексеевич, — и об моих предложениях по части широкой постановки промыслового дела на океанском побережье, и про мои полезные любому промысловому наблюденья за повадкой зверя — это у меня тоже путем вышло».

И Елизар Савельев — молодец, думалось Бегичеву, посоветовал такую бумагу составить — чтобы, говорит, заинтересовать, убедить и заставить в конце концов Губсоюз принять ваш план в целом... «Однако, мне думаетца, они

ево примут, когда рак на горе свистнет... Ладно, што хоть одну артель снарядить согласье дали...» Бегичев потянулся к этажерке, взял чернильницу, ручку и поставил перед собой...

Переписав «бумагу», отложил ее и взял список своей артели, перечитывая, задержал взгляд на середине списка: «Семенов... Совпадение... Опять Семенов и опять Николай — надо же... А ведь тово-то Николая Семенова на моем острове — на «Земле Дьявола», на «Шайтан-Земле» — постигла в тринадцатом годе участь печальная...» «...Помер в проливе между балаганом и речкой Диомида. Около него стоит ружье и на нем часы...», — вспомнилась Никифору Алексеевичу последняя запись из дневника Гаркина, и о себе тоже в той записи сообщавшего: «...ожидаю конца существования»...

Но Бегичев не был суверен и, дивясь совпадению, усмехался — «надо же!»

А через некоторое время пофамильный список занимать его перестал: дело решенное. Пришла пора думать о другом: экипировка артели промысловым снаряжением, продовольствием, перевозка лодок из Дудинки на Пясины, — а это полторы сотни верст, и перевозить обе лодки надо по санному пути.

Ехать договорились вдвоем: сам Бегичев и артельщик Сапожников — охотник-промысловик из хантайских тунгусов.

Никифор Алексеевич его предупредил:

— Ты, Гаврила, собирайся уж окончательно. Останешься нас поджидать на Пясине, на станке Заостровском. А я назад вернусь.

Отправиться с Сапожниковым на Пясины он был готов уже в феврале.

Природа светлела. День прибывал, рос, как та поговорка гласит, не по дням, а по часам... Солнце, вернувшись на Таймыр в середине января, парило над горизонтом выше и выше. Недаром называют иногда ненцы январь «месяцем орла» — приподнимается январское солнце на своих лучах-крыльях, медленно приподнимается, будто орлан-белохвост, и вырывает таймырские тундры из ночи...

Но с ростом дня, словно питаемая его светом, растет и стужа, начинает яриться, мутит по ночам отменную яркость январских звезд — это подступает февраль. И прибавляемое в русском народе к январю словечко «просинец» к февралю не прибавить...

Никифор Алексеевич, проникнутый к природе Севера возвышенным чувством, относясь к ее величию, как к чему-то одухотворенному, и каждый отдельный месяц представлял отмеченным особой печатью Духа Севера. Конечно, не в каком-то религиозном ореоле представлял и не в образе человеческого, но с явно человеческими проявлениями характера. Месяц январь ему представлялся главенствующим, но не потому, что он стоит во главе года, а потому что он — властелин, он и солнцем одаривает, он и просинец, он и самый морозистый-морозистый, однако не самый леденящий... Январь — не то, что непроглядный декабрь. Январь — не то, что февраль. Словом, январь — всего года государь...

Февраль же Никифор Алексеевич недолюбливал: людям холодно, зверю голодно, даже императору Арктики — белому медведю... Февраль даже на теплой Украине зовут «лютым», а на Таймыре — и подавно, здесь у февраля два друга — мороз да выюга... «Февраль — месяц лютый, илень

* Продолжение. Начало в альманахе «Полярное сияние» — 97, 98.

в унтах, а будто разутый, — говаривал о феврале Никифор Алексеевич. — Тут тебе и сретенские морозы, и пурги плашмя ложат... Чуть сплеховал — живо карачун будет... Свирепый месяц. — И добавлял обычно: — Хотя и в нем есть своя положительность: корму нехватка — песец на приманку, точно бабочка-мотылек на огонек... И попался, братец...»

Свирепость февральских морозных пург и задержала Бегичева с Гаврилой Сапожниковым в Дудинке.

— ...Злодей он и есь злодей, — сказал на этот раз о феврале Никифор Алексеевич и предложил Гавриле: — Давай переждем ево, а в марте и двинемся...

2

Весть о том, что Бегичев привез лодки на пясинский станок Заостровский, разносилась по стойбищам — и к западу от Пясины, и к востоку. Ненцы, долганы, нганасаны уже знали: когда станет река Пясины талой, Большой Никифор поплывет к воде с одним берегом на большой промысел. Принесла эту весть какая-то упряжка и в Авамскую тундру.

Пересекла весть о Бегичеве и забитую снегом реку Дудыпту, прибежала на оленьих ногах в стойбище на берегу Авама, дымящее конусами чумов неподалеку от соединения Авама с Дудыптой.

Первым чумом, в какой эта весть попала, был чум старого Сеймэ. Привез ее отец Анюптэ, приехавший повидаться с дочкой и погостевать.

Став женой Нумаку, Анюптэ уехала с ним на Волочанскую факторию. Нумаку работал на фактории сначала помощником продавца, потом — одним из продавцов-заготовителей, а сама Анюптэ, как могла, ему теперь помогала.

Весной, когда промысел песца закончился, а добытые уже и во второй половине сезона шкурки в основном были заготовлены, молодая чета нганасан поспешила навестить старого Сеймэ, пока он не откочевал на север и пока стойбище старика находится — по тундровым меркам — недалеко.

Так в родном чуме Нумаку и произошла встреча родственников.

Обсуждая решение Большого Никифора промышлять в другой — не в Авамской — тундре, Сеймэ пыхнул костяной трубкой, вынул ее изо рта, заговорил, глядя в костер:

— Большого Никифора все люди тундры знают. Он всегда нашим людям пособку дает, он никогда кривые говорки не ложит. Теперь Никифора ум, однако, думает опять далеко идти — землю смотреть, песцов много промышлять у большой северной воды. Там, как и в нашей тундре, его глазам тесно не будет... Мы вдоль реки-матери Пясины аргишим, Никифор по ее воде лодкой идти хочет... Что в этом худого? Пусть так будет. — Старый Сеймэ вложил трубку в губы, затянулся и снова освободил от нее рот для своей говорки. — Однако, шибко жалко... Когда он теперь в нашу тундру придет?... Мои дни теперь такие — поднимать сам себя тяжело стал...

3

Как ни спешил Никифор Алексеевич тронуться из Дудинки с артелью вовремя — не получилось: то тебе задерж-

ка с получением от кооперации всего, что предусмотрено договором, то с оленями задержка...

Уже и Енисей прошел, воздвигнув ледяные горы на берегу — половина июня, — а они, артельщики, все еще из Дудинки не вышли.

Савельев, приплывший в таймырскую столицу на катере вслед за льдом, озабоченно приговаривал:

— Охо-хо-о, Никифор Алексеевич, охо-хо-о, припозднились вы...

— Знамо дело, это коли ж мы теперь доберемся, — вздохнул и Бегичев. — Да ведь и с пустым рукам не отвалишь в экой-то дали зимовать... Но однако все, кажись. Завтра выходим.

Разговор происходил в исполкоме. Червяков, время от времени приглаживая на сторону седую непокорную челку, тоже выражал недовольство:

— И неплохо будто бы кооператоры дело разворачивают, но и... вроде тормоз какой-то... Елки-палки...

— Да уж, легче зайца на барабан выманить, чем у кооператоров все нужное вытребовать. — Бегичев расстегнул ворот рубахи, провел ладонью повыше крутого широкого лба, смахнув потинки, и усмехнулся. — А времечко-то не жлет... Вот уж и надо лбом у меня тундра стала, к затылку прическа-то отодвинулась... Может, Онисья моя и правду говорит — нейметца тебе, не промышляется, где привык...

Савельев оглядел Бегичева, улыбаясь:

— Ну-у, Никифор Алексеевич, с вашим ли видом богатырским так... Я вот постарше вас буду, а собираюсь тоже осенью по Таймыру... В Авамскую тундру, в Хатангскую. Надо и там Советы организовывать. А здоровьишко-то у меня... А вы вон какой...

Савельев еще раз окинул Бегичева взглядом с ног до головы, не скрывая симпатии к могучему землепроходцу и мореходу, любуюсь им. Все в этом человеке так и говорит о его незаурядности, объединяет вроде бы несоединимое: простецкий пиджак, бордовая — уже полинялая — сатиновая рубаха (любимая, видно: Савельеву на Бегичеве она давно приметилась) — мужик от сохи, можно подумать, и в то же время — такая богатырская колоритность. ...А почему это несоединимо, спросил себя Елизар Сергеевич, и припомнилось в детстве еще услышанное от матери, а потом и своим детям пересказанное: «...Начинает оратай бороздочку у теплого моря полуденного, а кончает оратай бороздочку у холодного моря полуночного...» и слова князя Вольги из той же былины: «Ты простой мужик, Микула Селянинович! А во всем-то ты превзошел меня: по догадке, по силе, по разуму!» ...Вот эти «догадка, разум» да еще воля и какая-то вечная устремленность вдаль, видимые в чуть прищуренном, напряженном взгляде, и отличали по-мужицки простецкого, обыкновенного — при всей его физической монументальности — Никифора Алексеевича, и делали его Большим Никифором, землепроходцем. И даже две морщины, пролеглие вдоль просторного лба его — местами заглубленно, местами прерывисто, как нартяной след на уплотненном снегу, являлись будто бы свидетельством торенных им в Арктике путей-дорог...

...Помолчав в ответ на слова Савельева, на его взгляд-обгляд и польщенный оценкой своего облика, Бегичев пояснил:

— Да я ведь к чему это про тундру-то, каковая у меня надо лбом образовалась... Это я вон к словам Якова Прокопыча и к тому, што в феврале пятьдесят три мне гакнет...

Полвека, значитца, прожил, полземли исходил, дак, подико, и не предложил бы кооперации чево-то не дельное. А у их, верно, будто кто притормаживает... Ведь создай зимовья да артели по всему побережью, поставь это дело на широкую ногу — дак я бы, допустим, мог не в одной артели быть, а во всех бывать — кому бы и посоветовать што-то, а кому при нужде и помощь оказать своевременно... Да не понимают, што ли... Одно дело — когда зимовье одно-одиношенько, а другое — когда хоть за сотню верст, а соседи есь... — Бегичев поднялся: — Ну ладно, надо идти... До свиданья, Яков Прокопыч... Елизар Сергеич... Спасибо за хлопоты в моем артельном деле. Без вас бы и эту, одну-то артель, не пробил...

— Счастливо, Никифор Алексеич... — Червяков и Савельев тоже поднялись и стояли.

— Возвращайся с богатой добычей... — Это пожелал Савельев, перейдя в обращении с Бегичевым на «ты».

— Будь здоров, Никифор Алексеич, — еще раз напутствовал Червяков.

Оба они — Червяков и Савельев — стояли в рядок, небольшие против Бегичева, да и сами по себе не большие, оба сухошавые, но один — Червяков — поседей, пожилистей, а другой — Савельев — почерней волосом, но побледней на вид, послабже как будто, — и, наверное, для солидности отпустил нынче усы и бородку... Глядя на него в этот раз, Никифор Алексеевич все вспоминал — на печатный портрет какого же писателя стал очень похож туруханский инспектор, — и вспомнил, — только пенсне для полного сходства недоставало...

16 июня запоздалый бегичевский аргиш из Дудинки двинулся.

А снежная тудровая крень рушится в начале июня. И как ни опытен, как ни упрям был всегда Никифор Алексеевич в достижении поставленной перед собой цели, дудинцы сомневались: какое в этакую пору аргишенье...

Долгожданное для таймырцев солнечное тепло не радовало артельщиков: снег разъедало с каждым часом.

Нагруженные нарты олени едва-едва волокли. И не только идти — смотреть было тяжело на этих покорных своей тягловой участи, измученных животных.

К концу второго дня пути удалились от Дудинки верст на двенадцать. А до речки Половинки, впадающей в Пясину, — еще сто верст с гаком... Было ясно: олени это расстояние не выдержат.

Бегичев решил:

— Вот што, братцы! Поблизости отсюда находится стадо Енисейского госторга. При нашей скорости до него — неделя. Я ворачиваюсь в Дудинку, попрошу десятка два — три голов.

В Дудинке, не заходя домой, пошел в контору госторга. В конторе не отказали: тридцать рабочих оленей разрешили из стада взять.

Заглянул и к семье, но дочек и сына дома не было — гуляли где-то. Анисья же обрадовалась:

— Ну чо, путаник! Говорили же тебе люди — поздно... Вот и хорошо... Слышь-ка, Никиша, начальник радиостанции сказывал — нонче между Красноярском и Таймыром открывают пассажирское сообщенье, пароходы специальные... «Спартак» и «Мария Ульянова»... Поплывем-ка мы с тобой вместе в Енисейск... С шиком проедем... И деточки пушай... Вот обрадуются, что вместе-то. А то все нароть да нароть...

Никифор Алексеевич торопливое воркование Анисьи слушал улыбаясь, но сердце вдруг начало выталкивать из себя и разливать по телу кровь, точно слезой разбавленную...

— Да погоди ты, голубушка... Собери мне пообедать, да и пошел я... За оленям вертался. Ждут меня там...

Анисья замолкла, всхлинула...

— ...Ну вот, а я... Господи, да когда же это кончится!.. Вся жись с тобой — одне проводы. А как провожать — сердце заходится. Одна горесь...

Бегичев слушал, глядел на жену с грустью: ему и жаль ее было, и свою судьбу не переменить, — да и не хотел он ее менять.

— Ну полно, Онисьюшка, будет тебе... — подпер щеку ладонью. — Какая ты еще молодая... Прямо хорошавочка...

Тасжной сибирской свежестью от Анисьи так и повеяло, и росяно заблестели, осынились ее темные глаза...

— ...Да где уж там, Никиша. Три десятка ведь — нешто молода...

— Три... Мне уж скоро пятьдесят три минет...

— А ты, слышь-ка, Никиша, усы отрасти снова, — кончиками вверх, подбородок бородкой прикрой... Помнишь, как свататься-то ко мне?.. Бравый детинушка, сразу видать было — моряк-боцман... — Анисья повеселела. — И соседки-подружки мое любовались бывалоча... А я дак и особливо. Да и сейчас... Старый, чо ли! Покамест — ничо-о!..

А при прощании Анисья опять сникла, уронила голову на мужнину грудь:

— Как вам и дойти!.. Вернулся вот... Теперь пути не будет...

— А ево уж и так нет, он уж и так долго жить приказал, путь-от, — весь потаял... — Никифор Алексеевич басовито засмеялся. — Хоть босоплясом беги...

К своему аргишу он возвратился в приподнятом духе.

До свежих, госторговских, оленей дотащились к 24 июня, а до речки Половинки — через туманы, дожди — на госторговских, но уже отнюдь не свежих оленях добрались только к концу первой декады июля. Уже и не то что провального наста (но все же наста) — не было уже и бродного, рыхлоснежного, пути, — нарты к речке приползли по голой земле.

Вести «судовой журнал» Бегичев предписал Натальченко, и 8 июля Натальяченко сделал запись: «Сегодня закончилось наше кошмарное путешествие на весенних оленях».

До устья Половинки поплыли на лодках.

В устье — встреча: едва приметный дымок над чумом и улыбающийся человек на берегу в сопровождении двух собак.

Бегичев приветливого человека узнал и, ступив на землю, широко расставил руки:

— Гриша-Возьми!.. Здорово, братец!

Доброта Гриши была широко известна. Он никому ни в чем не отказывал. Попросят — «Возьми», не попросят, сам предложит: «Надо?.. Возьми...» Так и пристало это «возьми» к маленькому ростом, но великому в доброте своей человеку, стало его вторым именем.

В добросердрии его убедились и артельщики.

— ...Гриша, а не дашь ли ты нам одну собаку езжалую да пушальню, — попросил Бегичев, — а то у нас и в собаках некомплект, и в сетях. Расплачиваюсь по-царски. Ты меня знаешь...

— Возьми, Никифор Алексеич. Собачку передовую отдам — хорошая. Лучшего передовика для упряжки и не надо. А сеточки возьми две. Хорошие пушаленки. Рыбка в них валом повалит... А по Пясины до Заостровки, где товаришок вас ждет, я вам помогу...

Позднее, когда уже и со станка Заостровского отплыли, артельщики не переставали удивляться:

— Ну что за добрая душа, этот Гриша-Возьми!..

— Далекое-о не всякий так из нашего брата...

— А кто он по национальности? И не поймешь!..

Бегичев пояснил:

— Из затундринских крестьян.

— Русский что ли?

— Вся-якой, — протянул Никифор Алексеевич, поглядывая на упруго наполненный ветром парус. — Тут дело таково рода. Ево родословная от мангазейцев происходит. А про Мангазею мне геолог Урванцев Николай Николаич сказывал, который сейчас в Норильске... Плыли мы с им так же вот по Пясины, исследовали ее, в двадцать втором году, дак он и говорил. Мангазея — первый в мире заполярный город был... От нас это верст четыреста на юго-запад, а само-то место города — близ Обско-Тазовской губы, на реке Таз получаетца, значит... И был этот город, считай, с тысяча шестотова года, — правда, и веку не пожил... Это все по бумагам известно, а как-то ево пока не находят — поди, плоховато ищут. А в пору-то расцвета ее называли «златокипящей», Мангазею-то,

Натальченко не поверил:

— Неужели прииски золотые?!

Бегичев засмеялся:

— Ярманки золотые... Продавалась-покупалась «мяхкая рухлядь» — меха сибирские. Вель в Мангазее-то бывали ажно иноземные купцы. Город! Самый обыкновенный город — с полтысячью домов, с воеводским двором, с гостинным двором, с кремлем — он по указу Бориса Годунова построен был. Да и население — тыща человек. А летом, когда торговля, — раза в два-три больше. Вот те и Север... Ходили туда от Архангельска на больших лодках парусных — на кочах, так называли их. До Ямала — морем, а Ямал — по речкам и волокам. И управлялись в один конец за четыре недели. Вот так-то, братцы. Да-а...

А из Мангазеи уже в тыща шестот сегом году русские люди и вышли на Енисей — по рекам Таз да Турухану. Там при впаденье Турухана в Енисей было и зимовье Туруханское поставлено. Да-а... Тунгусские князьки на то зимовье к русским мало тово што являлись тогда в соболиных шубах, дак и лыжи-то, говорят, соболям были подбиты... Вот как... И стало зимовье Туруханским, но не заладилась што-то ево судьба. И появился новый Туруханск, на новом месте — Монастырское, значит, бывшее... Адмирал Макаров, когда он там был, сказал про Монастырское-то: сама, мол, природа указала, штобы здесь новому Туруханску стоять — при стыке Енисея и Нижней Тунгуски...

А встарь-то, со старова-то зимовья Туруханскова, русские — мангазейцы, значитца — сплыли по Енисею вниз, к Таймыру. А Кондратий Курочкин, дак тот на кочах не токо до енисейскова устья дошел в тыща шестот десятом, а и на восток сходил по морю — это значит до устья Пясины, и на запад попробовал — к Оби. Он же и факт установил: река Енисей впадает в то же студеное море, што и Обь... Слышите? — Бегичев показал рукой по течению Пясины. — Еще и

море-то около Таймыра не Карским было, а студеным просто...

В ту же мангазейскую пору и на месте нашей Дудинки первое зимовье появилось... Одно из тех, первых-то, зимовий, рассказывают, промысловик Дудин поставил. А реку, значит, подле которой оно стояло, стали называть рекой Дудина, потом — Дудинкой, а сельцо на месте зимовий тех первых тоже — Дудинским, Дудином, Дудинкой... Так вот и стоит оно досе при встрече речки Дудинки с Енисеем...

Путь-то в эти края и от Туруханска был в те времена хождением на край света. Молва-то и передает, што Дудин-то был человеком отчаянным. Из-за бесшабашности удалой, говорят, и погиб: поплыл на лодке по штормящему Енисею... Да-а... А от зимовий-то тех, на месте которых Дудинка наша, мангазейские служилые люди, да и просто люди, охочие до новых мест, начали на восток Таймыра проникать: по речкам на Пясинское озеро выходили, из него — на Пясины, и плыли, как мы теперь плывем, до ее притока Дудыпты, по Дудыпте — на восток еще дальше, потом плыли по Аваму, а там — на Хету и Хатангу... Пушнова зверя там и теперь хватает — потому и проникали, оседали... Проникали и дивились — тундра, тундра и вдруг за тундрой — за Авамом, по Хете, по Хатанге лес... Белой медведь с бурым встречаются... А самих тех людей охочих в царское время так и стали числить — «затундринские крестьяне».

— Значит, Гриша-Возьми все-таки русский, коль он из затундринских? — полувопросительно-полуутвердительно сказал Натальченко.

— Никак нет, — возразил Бегичев. — А дело опять же в Мангазее... Купцы заморские немало, видать, порассказывали дома про богатства Сибири да про большое море по Русскому Северу. Англию с Голландией Сибирь очень стала интересоваться, а также и возможной путь в Индию через наш морской Север. Да и завладеть таким краем какая страна не позаритца...

Натальченко усомнился:

— Да ну, в те-то времена!.. Какие правители могли позариться на такую даль, глушь, мерзлоту да болота...

— Ой ли! — с усмешкой глянул на него Бегичев. — Было бы болото, а черти будут... Вот и решил царь тогдашний всем немцам-иноземцам — штобы на Сибирь не заглядывались, а вместе и нашим купцам — штобы дорогу не казали, путь в Мангазею через море обрезать, поставил на Ямале кордон стрелецкой: ежели, мол, хотите в Мангазее торговать — идите туда через Урал да Тобольск — как первые воеводы туда пришли... А тот путь куда как трудней да несподручней морскова — и мехов не захочешь. И опустела Мангазея, дак как зимовье существовать перестала. И на Таймыр ходить стало не к чему — пушнину-то кому стало продавать... Да-а... И русские люди затундринские оказались на отшибе. И было-то их не ахти, — может, сотни три-четыре... Кто-то из их с Таймыра выбрался. Кто-то остался, — да и образовал с людьми тундры смесь — с якутам, с тунгусам, с долганам... И говорить по-русски разучились, и жить, — кочуют. Говорят по-долгански и причисляют себя к им. Токо и тово, што фамилии русские — Дураковы, Аксеновы, Поновы, Суворовы дак... А язык русский теперь уж от нас перенимают. Да-а... Такая вот родословная у Гриши-Возьми...

Сидя за рулевым веслом и пересказывая услышанную от Урванцева историю Севера времен Мангазеи, Бегичев окидывал взглядом проходящие по борту окрестные берега,

следил за фарватером и зримо представлял то, о чем говорил: ничего с тех пор не изменилось — все та же северная пустыньность. И наглядность ее за семидесятым градусом усилилась: ни хотя бы какой-то рахитичной лиственницы, ни какого-то иного деревца — до наготы берега разделись.

В лодке с Бегичевым находились Горин и Натальченко. Вторая лодка шла позади, в ней — Семенов, Зырянов и Сапожников.

Изменившийся вид берегов заметили все.

— Голым голо стало, — тихо проговорил Горин.

— На кладбище и то веселее, — сравнил Натальченко.

Бегичев, уже раз проплывавший по этой реке, так не удивлялся:

— Потому ее и зовут — Пясина. По-ненецки «пясина» — безлесная. ...А вот тунгусы — эвенки, значит, — те што живут ближе к лесотундровой полосе Таймыра, дак они по-другому этот край увидели. Они говорят, што их люди, когда «давно-давно» пришли из тайги в лесотундру, обилию всево поразились: оленей диких видимо-невидимо, куропатки на голову садятца, песцы шныряют под носом, как собаки, а еще и зайцы, горностаи, а летом — гуси, утки... Рыба на берег выпрыгивает... — Никифор Алексеевич засмеялся. — Каждой твари не по паре, а уйма, прорва... — А заключение сделал уже серьезно. — Так и начали тунгусы этот край называть «обильный», а это слово в их языке звучит как «таймыр»... Потому я и полагаю, што название Таймыр пошло от тунгусов.

— Ну, Никифор Алексеевич! — улыбнулся Горин. — Тебя слушаешь, прямо как профессора...

— Профессор не профессор, а свои мысли-наблюденья имею, и от умных людей много чего слышал, да и читал. ...Пуссе Ксенафонт Васильич, он, конечно, по части туземца спойть-обмануть, да и ближнева тоже, — великий мастер был... А уж туземца-то!.. И не рад хрен терке, да по ей боком пляшет, — так и туземец терся об Ксенафонта... Проходимец был первой гильдии, так и надо сказать. Поделом сво турнули из Дудинки. Но и библиотека у ево была!.. Пользовался я... — Бегичев помолчал, направил лодку поближе к правому берегу — яристому и более приглубому, стрежень проходит как раз под ним. — ...А вот, к примеру, еще по вопросу названий... Савельев говорил мне, што самые-то первые русские, на Енисей вышедшие по Турухану, были ально и не те мангазейцы, которые Туруханское зимовье поставили, а был-де Федор Дьяков с дружиной в тыща пятьсот девяносто восьмом году. Спустился он к нашему краю по большой реке, побывал и понавел царю московскому мехов сибирских, и поведал об огромной стране Таймурии, где эти меха бегают и где их ловят неведомые племена, и што течет там большая река Енасе... А «Енасе»-то — Енисей в русском звучанье — по-туземному это и значит «большая река». ...А насчет кладбища, говоришь. — Бегичев взглянул на Натальченко. — Увидишь и кладбище — в Дудыпте подойдем...

Попутный ветер, дувший в паруса, обе лодки по реке продвигал быстро. И через день обещанное Бегичевым кладбище артельщики увидели: частокол могильных крестов на высокоом мысу, при слиянии Дудыпты с Пясиной, — нежилой станок Кресты...

— Во времена-то Мангазеи ево, поди-ко, по-другому называли, — вслух подумал Никифор Алексеевич. — Люди жили, а не покойники... Вот же што одна царская бумажка учинила. Написал: «В Мангазею морем ездити не велено»,

— и русские в такой стране-громадине, как Таймыр, на века остались, почитай, токо под крестам... А ведь вон как прытко — судя по множеству-то крестов — начали эту страну обживать. И везде по Таймыру так: здесь вот кресты, а в устье Пясины, куда плывем, есть даже избушка тех времен. Нижние венцы сруба в мерзлоте-то уж окаменели... И приходится нам теперь заново Таймыр открывать...

— Так после Мангазеи была ж Великая Северная экспедиция по указу Петра Первого, — напомнил Натальченко.

— Была. А как же. Да она ж — морская. Для Таймыра она, как прибой, — берега ево токо обдала...

Ниже Дудыпты Пясина располнела, раздалась в ширину — местами до километра. И уже — ни хотя бы пустых избушек, ни развалин, ни даже крестов... Лишь при устье Агапы — следующего после Дудыпты большого притока Пясины — одинокий чум и новая приятная для Бегичева встреча:

— Торово, Большой Никифор!

— Олото?! Здорово, браток, здорово!

В начале пути от станка Заостровского такие встречи были нередки. Бегичев, если замечал на берегу чум кочевника тундры, обязательно к берегу приставал: миновать, не почаявничать, не обсказать новости — это значит проявить к хозяевам чума неуважение. А по отношению к Олото — и говорить не приходится: столько с ним охотничьих путей-путиков проторено...

И в просьбе Олото — взять на промысел «парня Манчи» — не мог Бегичев отказать, и артель в устье Агапы на одного человека прибавилась.

Плаванье складывалось благополучно. Не стоял на месте июль, не стояла и артель Бегичева. Прошли гоготливое гусиное царство на невысоком многоостровье, достигли устья Янгоды, Тареи — здесь, в долине этой реки, можно встретить разве что прикочевавших на летовку нганасан — кого-то из их невеликого народа. Но не встретили...

От Тареи горы Бырранга заставили Пясины повернуть на запад, — знакомый Бегичеву крутой поворот и знакомые темнеющие вдали уступы... Нганасанское Царство мертвых... Никифор Алексеевич глядел на них пристально: он пересек эти мертвые хребты в июне пятнадцатого года, когда по просьбе из Петербурга шел во главе экспедиции на выручку затертым во льдах ледоколам Бориса Вилькицкого.

Вилькицкого то плаванье прославило: впервые пройти Северным морским путем с востока на запад — от Владивостока до Архангельска — это великое достижение! Однако и еще была причина назвать это плаванье славным: открыта Северная Земля. Но и он, Бегичев, спеша на помощь «Таймыру» и «Вайгачу», первым из людей прошел через неведомые горы на севере Таймыра — ущелистые, дышащие вечным льдом...

После полутора сотен километров Пясина снова повернула к северу. И этот поворот Бегичеву тоже знаком: «...Последнее коленце выкинула Пясина... Потекла промеж гор. Горы ей прямо из воды свои зубки кажут, а она течет... Мимо темных базальтов, светлых гранитов... Урванцев говорил — и здесь должны быть полезные ископаемые. ...А вон и Красная сопка на отмелем берегу... И мелкосопочник трамплинистый — «бараньи лбы», говорил про такие сопки Урванцев, — по всему Таймыру, говорит, когда-то ледник пробороzdил и понаделал таких лбов из скал».

Ближе к морю подул встречный ветер, лодки захлестывало волной.

— Баста! Не выгребем. К берегу — и днество, — командовал Бегичев.

...Успокаиваться река начала в последний день июля.

Двинулись дальше. На исходе третьего дня послешторного плавания Никифор Алексеевич, указав глазами на большую песчаную косу, лежащую по курсу, хлопнул в ладоши да так и оставил их одна в другой, точно сам себе руку пожимал, себя поздравлял...

— Конец, братки! Приплыли. Это мыс Входной. За ним — море. Перед мысом и станем.

Карское побережье встретило безмятежным покоем: ни льдов, ни облаков — солнце в небе, солнце в воде... И — ни ветерка... Светлая песчаная полоса — то ли последние метры тундры, то ли первые метры моря... А на них — гуси, стаи гусей, и бревна, целые нагромождения бревен.

Артельщики, выйдя на берег и делая по нему первые, еще бесцельные, шаги, точно ощупывали ногами землю, — и уже считая ее своей, и еще опасаясь ее... И улыбки на их лицах были такими же — счастливо-растерянными: то ли в ад попали, то ли в рай... Собаки тоже от людей не отходили, обнюхивали песок, вертелись поблизости.

Натальченко повторял:

— ...Гусей-то, гусей!.. А лесу-то, лесу!.. Тундра, океан — а бревен...

Бегичев теребил пальцами подбородок...

— Я сам всегда диву даюсь, — кивнул на копошливых гусей, — курятник да и токо... А бревна... Это ведь по Енисею выносят их в океан. Скоко добра пропадает... Давайте-ко, братцы, палатку ставьте... Костер, мясо, чай — поедим и спать. А я сейчас пойду гляну, как тут и што...

Закинул берданку за плечо и зашагал в сторону тундры...

...Второе число августа. Полярный день свое солнечное око еще и на ночь не закрывал.

Не спалось и птицам: приглушенный гусиный гогот — с берега, с озер, взвизги гагар, хохотливый смех чаек...

Бегичев поднялся на песчаную сопку — увиденное радовалось. Притопнул ногой — сопка залаяла... «Ага, милые! Тут вы... Из-за вас-то мы и пришли в такую даль. Из-за вас я и с берега ушел не емши, не пимши...» А глазами Никифор Алексеевич окидывал песчовые норы по склону сопки. Много. Точно кроты нарыли... Еще раз притопнул... Песчовые выводки снова отозвались из-под земли недовольным лаем. Зато сам Никифор Алексеевич был предоволен. Все как по заказу: лес, гусь, песец — и для стен, и для котла, и для промысла. Удача должна сопутствовать».

4

На Карском побережье артель Бегичева буквально с первой минуты прибытия туда трудилась, не покладая рук: строили из выброшенного океаном на берег плавникового леса жильё, запасались мясным пропитанием — охотились на гусей, на оленей. Ловили рыбу.

А голова артели все подгонял и подгонял своих артельщиков:

— Неколи, неколи балясы разводите... И хоромина сама не срубится, и печка в ей по шучьему веленью не сложится...

Но сам-то Никифор Алексеевич понимал, что его ворчливое недовольство — упрек не артельщикам, а руководству кооперации: прими руководство план организации промысла здесь в том виде, в каком он был предложен, и все бы успелось: плотники срубили бы избышки, пускай для десятка артелей на первый сезон — и возвратились бы в Дудинку, а охотники тем временем бы мясо, рыбу запасали, пасти строили... «А тут не знаешь, за что и хвататься, рассуждал Бегичев, так можно и загубить хорошее дело...» И пояснял артельщикам:

— А порядки здесь, ребята, такие: вчера — лето, а завтра пурга ударит. И с охотой надо поспешать. Олень ждать не будет, вот-вот уходит с побережья начнет. Птицы умахали, и он... А там, ребята, и песчовый сезон начнется...

И время для артельщиков не тянулось — только темнело: солнце всходило все позднее, все южнее — и тяжелело, тяжелело...

И настал срок, когда Бегичев разрешил, наконец, настораживать ловушки.

И сразу же удача: Сапожников переступил вечером порожек зимовья и вскинул руку с вытянутым во всю свою белую длину пушистым песком...

— Вот!.. — Радость в узком разрезе тунгусских глаз артельщика не умещалась...

Повскакивали с мест:

— Первенец!

— Ууу, какой!..

— Как собака, как наша Белошейка...

Бегичев, полюбовавшись добычей не выходя из-за стола, поднялся и подошел, — и ему потребовалось разглядеть песка получше, — взял его из руки Сапожникова...

— Да-а, ребята, што и говорить... Рослый зверь, хожалый... С начинном, значит, нас...

Этот вечер на зимовье стал праздничным.

Из-за стола не расходились долго: так хорошо было при тихом свете керосиновой лампы посидеть, поговорить, послушать...

Николай Семенов взял положенные Бегичевым на стол золотые часы, осторожно поворачивал их, рассматривал... Что это за часы, он знал, но в руках держать случая не выдавалось. Прочитал надпись: «Господину Н. А. Бегичеву от правительства королевства Норвегии».

Никифор Алексеевич и сам не прочь был иногда подержать их в руке, остановить взгляд на гравировке...

Тот факт, что часы присланы из Норвегии в благодарность за выяснение судьбы пропавших на Таймыре спутников Амундсена и за найденные его бумаги, представляющие научную ценность, артельщики тоже знали.

Бегичев, случалось, шутил: «Не знаю, кого больше и благодарить, — то ли норвежское правительство, што прислало часы за амундсенову почту, то ли медведя, какой эту почту нам выкопал, а мы потом ее и увидели на берегу — мимо плыва...». Но обычно после такой шутки Никифор Алексеевич сникал и до конца историю с тем медведем почти никому не рассказывал.

В последующие вечера артельщикам стало не до бесед за столом: после высмотра пастников и обделки добытых песцов сваливала усталость.

На высмотр ходили обычно по двое. Бегичев — нередко и в одиночку — запрягал пару собак и уходил на дальние пастники, почти за десяток верст.

В один из высмотров погода установилась и тихая, и ясная — ночь, но прозрачная. «Штиль... Самый настоящий», — подумал Никифор Алексеевич.

К середине дня — по времени — он пришел к высмотровой «избушке-голомушке» (с осени успели соорудить еще и это прибежище для передышки и на случай пурги).

Южная часть горизонта слегка забагринилась — слабое напоминание того, что где-то там за тундрой, за лесотундрой, далеко за ними, блещет день, искрится снег на деревьях в енисейской тайге, на сибирских гольцах...

Выше несмелой полоски румянца небесная щека бледнела и леденела, а северный склон неба над ледовой пустыньностью океана — в ночной синеве, в звездах...

Никифор Алексеевич постоял у входа в голомушку, поглядел на земные и небесные дали и пришел к мысли, что разумным будет сделать передышку: «В такую погоду при луне пастники высматривать даже и лучше — одно удовольствие, не погода — краснопогодье прямо... За ночь управлюсь, маленько опять отдохну, и в это же время завтра — на зимовье. Там как раз баньку затопят...»

Собак тоже с собой в голомушку взял — им тоже отдых полагается...

А ночью, после отдыха, во время обхода пастников с удовлетворением похвалил себя: «...И верно ты, Никифор, сделал, што при луне высматривать решил. Экая ночь-то славная, небо-то вывездилось...» Никифор Алексеевич любил вот так, не торопясь, походить по тундре, побыть наедине с собой. Зимнее ночное пространство его не угнетало. Он с этим пространством сливался, становился его частицей, а в эту зиму — особенно. Наверное, оттого, что давно не ходил, не дышал так свободно, не общался один на один с Духом Севера...

Передвигался от пастника к пастнику, укладывал на санки песцов, посвистывал собакам, а удачливый высмотр (взял в руку уже десятого песца) отмечал лишь краем сознания, — будто и не за тем он пришел на океанское побережье...

По привычке встряхнул добытого зверька, положил рядом с другими. Хотел с собачьей упряжкой тронуться дальше, но выпрямился и замер: собаки насторожили уши... Огляделся — никого, прислушался — тихо... А обе собаки заметно напрягли слух и вдруг, как по команде, повернули морды к северу.

И сам повернулся — никого, ничего... Только сполохи полярного сияния в морозном небе, обычно изжелта-зеленоватые, а тут — с розоватостью, с сиреневостью, перекрасистые, перетекающие — в полнеба.

«...Эк, разыгралось, милое, расходилось... Но собачьи, собаки!.. Неужто они што-то слышат, неужто оно для их не беззвучное?... Может, слышно им, как этот огонь блядучий трещит... Однако чево-то в ем слышат». Никифор Алексеевич постоял заколдованным и двинулся дальше. Но что-то в его состоянии изменилось: хорошо, вольно было по-прежнему, но и тревожно будто бы... Будто наблюдает за ним кто-то немигающий... «Это все от сполохов, — нашла причина легкого беспокойства. — Иван Коробейников сказывал, тоже што-то такое изведывал в тундре, когда сиянье... Да, но со мной-то раньше такой оказии не происходило. Это мой Дух Севера надо мной подшучивает... Али предупредит об чем?... Не так я, может, начал што-то в жизни делать? Дак нет, живу правильно. Однако в Авамской тундре со мной такова не бывало. Годы, поди-ко... И

усы боцманские не молодят. ...Зря ты, Онисья, душа моя, думала, што усы да бороду отпущу, как в молодые лета, и помолодею. Теперь борода токо старит. Годики-то мои идут, идут, часики-то тикают да тикают... Часики, часы...»

Никифор Алексеевич остановился, в сердцах сплюнул и проворчал вслух, как выматерясь:

— Тьфу ты, мать честная!..

Собаки, приняв недовольный голос на свой счет и видя, что хозяин стал, тоже остановились, но он шагнул — и им повелел...

А в мозгу его все тикало: «Часики, часы, часы...».

Навязчивая мысль о часах докучать ему начала еще с того вечера, когда Сапожников принес первого песца, точнее, после того, как увидел свои золотые часы в руках Николая Семенова, увидел, и снова вспомнилась дневниковая запись Гаркина о другом Николае Семенове: «Николай Николаевич помер в проливе между балаганом и речкой Диомида. Около него стоит ружье и на нем часы... «На ком «на нем»? На ружье? На Семенове?... Эти вопросы задавал Никифор Алексеевич по прочтении записи и глядя на мертвого Гаркина. А пришел к месту, где закончилась жизнь Семенова, и увиденное на эти вопросы ответило: часы оставались на руке Семенова.

Последняя дневниковая запись Гаркина вспоминалась Бегичеву довольно часто. Но раньше она вспоминалась просто потому, что это были последние строчки о трагедии на открытом им острове, на этой «Земле Дьявола», а теперь они вспоминаются мало того что в связи с удивительным совпадением имени-фамилии обоих промысловиков, так еще и в каком-то невозможном сплетении лет, мест и... рук: часы на руке того Николая Семенова, часы — в руке этого; и руки их каким-то непонятным образом переплетаются, заменяются одна другою, и свои часы начинают уже Никифору Алексеевичу видеться в мертвой руке того — с острова Дьявола... «Черт-те што...» — усмехался несусеверный охотник в такую минуту, однако надоедливое видение донимало...

На этот раз прогнал его то ли сердитым плевком, то ли усилием воли. Но ощущение, что кто-то за ним наблюдает, не исчезало, хотя и сияние уже пропало, только плотные снега, затемненные поставленным на них синевозвездным куполом, белели и отражали лунный свет.

«А луна-то, будто иллюминатор в этом куполе, будто свет дневной через этот иллюминатор видится и проникает в нашу каюту обширную... — сравнил Никифор Алексеевич, — ...а может, это луна и смотрит на меня одноглазо...»

Снег под ногами привычно поскрипывал, мороз усиливался — пожигало щеки. А переставало пожигать — в срочном порядке следовало их оттирать... «Нет, не луна это смотрит... Это он смотрит...» И Никифор Алексеевич ясно увидел медвежий глаз... Маленький, темный, с карим зрачком глаз убитого им на этом побережье белого медведя, того медведя, который помог найти почту Амундсена.

...Сколько он, Большой охотник, на своем веку перестрелял всякого зверя — нерп, оленей, волков, да и медведей, сколько песцов переловил, но жалости не испытывал: он охотник. Было как-то на том самом острове Дьявола — пожалел, что убил моржей. Но то была жалость иного рода, пожалел, как расчетливый хозяин: взять с собой на материк возможно было только бивни, а из-за них губить такого огромного зверя — какой смысл.

Но вот летом в двадцать втором году пожалел убитого медведя, впервые пожалел, что загубил жизнь... Потому что представился убитый медведь таким же, как и сам, странником: припутешествовал к берегу на льдах, проявил любопытство — надумал побродить летом по тундре, а вернулся к морю — водная гладь, — льды унесло, и брел он вдоль берега — голодный, одинокий... как тот, уже потерявший товарища и, возможно, как раз тут и шедший, посланец Амундсена... Брел медведь, и его, как любого путника, сморила усталость — лег поспать... И тут — человек... Но одному он предпринять что-либо не решился, прибежал к своему лагерю: «Там медведь!» И люди похватили винтовки, а люди — это он, Большой Никифор, Урванцев и остальные участники пясинской экспедиции. ...Медведь спал, но, почуяв недоброе, поднялся... Хлопнул прицельный выстрел Большого охотника... Хлопнули еще несколько... Медведь лег... Расстреляли... Подошли...

И запомнился Никифору Алексеевичу медвежий глаз — темный, глядящий безжизненно...

Еще и по той причине как-то грустно стало, что все скопом навалились... А чуть позднее выяснилось: это он, тот медведь, оголодав, и разворочал плавник, выгасил спрятанные там пакеты с Амундсеновой почтой, потребушил, да отступился — не съедобно...

...Интересная эта история с медведем и почтой, а рассказывать о ней Никифор Алексеевич не любил, теперь же просто удивлен был до предела: «Вот кто на тебя смотрит... Надо же тебе, по сю пору в памяти».

Но еще большее удивление ждало его впереди...

После добычливого высмотря ловушек охотник возвратился в голомушку и, как решил накануне, лег отдохнуть. Измученные собаки свились в клубки рядышком, возле нар.

Спал недолго. Снились какие-то кошмары. «Наверно, опять сиянье разыграло», — определил мимоходом, потому что уже давно установил: буйная игра сполохов на небе — дурной сон в голове...

Поворочался-поворочался и встал, направился к двери, — как и любой смертный в таких условиях, раз или два в сутки он выходил на улицу, никому ничего не объясняя. А в голомушке и объяснять некому было, — собаки и те спали без задних ног...

Вышел и сразу увидел перемену: темно, мутно, ветерок, метет поземка.

Повернулся спиной к ветру и... остолбенел: медведь... В беловатой мути — желтоватый медведь, его черный, выставленный вперед нос — всего в десятке метров...

Но мозг Бегичева, в отличие от тела, не оцепенел, и в первую очередь — мысль профессионала: «Грудастый самец, мощный, на полтонны, больше...»

...Человек и зверь смотрели один на другого не шевелясь... Первым предпринял маневр человек — отшатнул назад, еще шаг — и в двери...

Дальнейшее было неожиданным и для человека, и для зверя: Бегичев осторожно выглянул — медведь стоит там же. Или он тугодум и еще не решил, как поступить, или уже все решил и только ждал человека...

Человек вышел и прикрыл за собой дверь... (Бегичев боялся не медведя — собак, они могли все испортить.)

Человек заговорил на своем языке...

Медведь не понимал, что человек говорит, но понимал — как говорит и, находясь с подветренной стороны, чуял — что у человека в руках...

А Бегичев спокойно, доброжелательно приветствовал:

— Здорово, братец... Пришел — будь гостем. Ты, ясное дело, не знаешь — меня в тундре зовут Большой Никифор... Я охотник, понимаешь... Я виноват перед твоим родом. Много вас бил... Но ведь ты тоже охотник отменный, это ведь от тюленьева жиру шкура у тебя лимоном отливает... Я знаю — ты Великий скиталец Арктики. Ты пришел издалека... Может, с моего острова, может, с другога, однако отсюда, с востока: здесь таких крупных нет. Я тоже здесь пришелец... Угощаю — чем есть... На-ко... — Бегичев тихо, но уверенно начал сближение, держа на вытянутых руках большой кусок мороженой нерпы...

Внешне медведь никаких агрессивных намерений не проявлял, да Никифор Алексеевич и не собирался передавать угощение из рук в зубы... Приблизиться думал лишь до намеченной взглядом нейтральной полосы... А в висках стучало: «Только бы не учуяли собаки, только бы не взылали... Надо на лапы глядеть, на лапы... Токо бы не прыгнул или не стал подниматца на дыбы... Надо за левой лапой... Медведь с левой бьет... Хорош! Нагибаюсь... Лапы на месте... Изготовки на прыжок нет... Кладу... А што толку, если и замечу... Вряд ли за порог успею... Та-ак, теперь — задом, задом... Стоит как вкопанный... Та-ак... Оп!» — Бегичев натолкнулся спиной на дверь.

— Ну чево ты, братец... Ну...

Медведь качнулся, переступил раз, второй — направился к мясу.

— Вот так-то, брат, по-людски...

С угощением было покончено быстро, — поднял голову, уставился на человека, благодаря или еще прося...

Бегичев уже и за ручку двери взялся, намереваясь и вторично подношение сделать, но передумал: «Нет. Вдургорядь нельзя. Не дай Бог, собаки... Всю обедню испортят. И так чудом не растягались. Хотя какое чудо — спят заморенные, а он — умница — с подветра...»

Медведь снова качнулся и грузно пошел в сторону океана, слегка помахивая головой в такт шагам...

Никифор Алексеевич провожал его взглядом до тех пор, пока он не растворился в серой мути...

«...И какая это сила вложила мне в руку мясо, а не винтовку?.. — Вот что более всего удивило Большого Никифора. — Не иначе, мой Дух Севера... Ведь когда Иван Коробейников рассказал мне про похожий случай с ним на Диксоне, я посмеялся — чудака человек, стрелять надо было. Такой трофей — добыть охотничья... А вот теперь на себя удивление берет. Раньше-то ведь так и считал: красивый зверь, могучий — хвала такому зверю, хвала и охотнику... А ведь он не токо красив, не токо могуч — умен... А поступь-то! Императорская. Предстал — вдруг, ушел — растворясь, как дух... Што?! Дух?!.. А ведь и верно! Он и есть воплощение Духа-то Севера. Без медведя Арктика — не Арктика». Бегичев, довольный своим поступком и своей мыслью, толкнул дверь...

Продолжение следует.

Николай ОДИНЦОВ

Родился в 1923 году.

Репрессирован. В Дудинке с 1945 года. Печатался в окружной газете "Таймыр", в альманахе "Полярное сияние" - 98. Лауреат литературной премии имени Огдо Аксеновой.

НА ПЕРЕПУТЬЯХ ТЕРНИСТЫХ ДОРОГ*

ВО МРАКЕ ПОЛУНОЩНЫХ СТРАН

На долю каждого человека в жизни выпадает много разных дорог. И всякий раз, на новом витке, невольно закрадывается тревога: какие трудности ожидают его на неведомом пути и хватит ли сил одолеть их? Собственную судьбу не обойдешь стороной.

В этот раз этап на Север формировали долго. Никому из заключенных не хотелось ехать в далекий, пугающий лютыми морозами и пургами северный край. Рассказы, а еще больше домыслы, иные порой на грани фантастики, коими был полон злобинский пересыльный лагерь, сжимали и без того угнетенные страхом души. Всем казалось, что у этой дороги только одно направление: туда.

Чтобы избежать отправки в этот суровый и беспощадный Норильлаг, многие использовали различные способы и методы, не останавливались и перед преступлениями. Особенно упорствовали уголовники. Они забирались в подполья барачков, закрывались на чердаках в надежде отсидеться, пока их отыщут, а этап уйдет. Более «настырные» применяли самые изощренные виды членовредительства: разрезали себе кожу на животе до самых внутренностей, засыпали глаза чернильным порошком.

Но это не помогало. Кожу зашивали, глаза промывали фельдшеры из таких же заключенных, и затем «наскоро обработанных» под конвоем доставляли на сборный пункт. Более серьезно искалечившихся запирали в больничные изоляторы. Подлечивали. И затем со следующим этапом отправляли по назначению.

Этапов из злобинской пересылки уходило много. И не только на Север. Вот в такие этапы, лишь бы не в Заполярье, стремились попасть большинство уголовников. Нам же от их «выкрутасов» были только одни неприятности. Уже третьи сутки сидели мы в духоте тесного барака в ожидании, пока надзиратели с нарядчиками, подгоняемые начальством, проклиная всех и вся на свете, рыскали по всем углам и закоулкам зоны, отыскивали последних, так искусно упрятавшихся от этапа, «блатарей». Наконец нашли и их. Переодетые в женскую одежду, несколько человек укрывались в бараке у женщин.

Как только последнего «подпольщика» затолкали в сборный барак, несмотря на позднее ночное время, всем приказали собрать вещи и быть готовыми к этапу.

Ранним утром, после длительных сборов и утомительного перехода, началась посадка в трюм парохода. Продолжалась все утро и закончилась только к середине дня. Сле-

дом за нами затолкали «членовредителей»: некоторые были с завязанными глазами, у других толстые повязки на животах. Напрасными оказались их «ухищрения» и «симуляция»: от этапа к «полярной Пальмире» отбиться не удалось. В трюме парохода было тесно. Но постепенно все утряслось, и каждый устроился. Правда, без всяких излишеств. Слава богу, что можно было вытянуть ноги и выпрямиться во весь рост. Но тут начали дожимать «искалеченные» уголовники: требовали больше места и оттесняли других заключенных. Приходилось уступать их требованиям: хоть и нахалы великие, но искалеченные. А скорее всего, делали потому, чтобы не связываться с ними. Когда посадка была закончена, пароход отчалил от места стоянки и через некоторое время пришвартовался к другому причалу. Здесь он тоже простоял почти сутки. Во второй половине ночи совсем незаметно отплыли в «страну белого безмолвия». Первые дни люди мало говорили между собой. Больше спали. Потом постепенно стали заводить знакомства. Я, по своему обыкновению, в разговоры не вступал ни с кем. Про себя считал, сколько мне осталось до конца срока. Сначала месяцы считал, потом недели, и так дошел до дней. Хотел высчитать часы, но не смог. Запутался в цифрах. Делал это для того, чтобы скоротать время и не думать о предстоящих тяготах. Но от этого трудно было избавиться. В душу все больше и больше вкрадывалась тревога: что ждет там, за далеким Полярным кругом?

После длительного молчания спросил у соседа, хотя и не надеялся получить от него ответ (тот тоже все больше молчал):

— Почему уголовники боятся норильских и дудинских лагерей? Что там, очень люто? Ведь не останавливаются ни перед чем. Одного я видел еще на пересылке с отрубленными пальцами. Сам себе отхватил. Что это? Может, ненормальные?

Сосед, не меняя своего положения, пробурчал:

— Там работать заставляют, а они не хотят. Вот и стремятся всеми способами отбиться от этапа.

— А что, разве в других лагерях поблажки есть? — возразил я.

— Там не то. Как завернет мороз градусов под 40, да еще ветер чуть с ног не сшибает, а работать надо в открытом месте, так сразу родную мать вспомнишь. Я уже второй раз туда еду, первый — то еще до войны был, так что знаком с этими местами, — проговорил сосед и умолк.

На мои вопросы больше не отвечал. Я же проникся к нему уважением (бывалый «волк»), решил переждать немного и отложил разговор на потом. Под вечер, после ужина (кормили два раза в сутки, рано утром и поздно вечером), когда все утомонились и многие уже спали, сосед сам вступил со мной в разговор.

— Дня через два приплывем в Дудинку. Не знаю, какая она сейчас, а тогда убогонькой была. Домишки паршивые, лагерные бараки и те много лучше. Как прибудем, так сразу на пересылку. А уж с нее одних отправят в Норильск, других оставят работать в порту. Сейчас там железная дорога, а тогда мы шли до Норильска пешими.

— А где лучше? — спросил я.

— Везде хорошо, — мрачно ответил сосед. — Потому и режутся блатные, чтобы избежать этого «милого Севера». А кого привезут туда, все остаются там: одни надолго, другие навсегда.

* Продолжение. Начало в альманахе "Полярное сияние" — 98.

Мне очень не понравились его настроение и суждения. В мыслях я выстроил для себя более легкую жизнь (как будто что захочется, то и сбудется). И, внутренне не соглашаясь с ним, спросил:

— Но ты-то ведь выбрался оттуда?

— Мне всего только год там тогда пришлось пробыть. Да и к морозам привыкший, из Енисейска я, — сказал сосед.

Разговор оборвался. Ему не хотелось разглаговествовать, в меня же вселилась тревога. Молчали все. В трюме было душно. Совсем рядом, за бортом, плескались енисейские волны. В голове застыла безысходная пустота. И только тонкой струйкой билась мысль: «Енисей, Енисей, сколько же тайн схоронил ты?»

Чтобы хоть немного отвлечься, спросил у соседа:

— Как величают тебя?

— Тебе-то не все ли равно? — буркнул он. — Ну, Егор я. А сию за душегубство, жене башку отрубил, — сказал и добавил: — Не приставай больше, мешаешь думать.

Я тут же про себя прикинул: не только не буду разговаривать, а как приедем, при первой возможности подальше уберусь. Если он жене голову отхватил, то что я для него? И тут же про себя немного облегченно как бы вздохнул: вот таких-то туда надо загонять навсегда.

В свете нахлынувших новых забот как-то сразу отодвинулись воспоминания об омских лагерях, этапах, Злобинской пересылке. Реже вспоминались совсем недавние случайные знакомые: Петр Фомич, «Самсон», Кирсан и прочие обитатели лагерных бараков последнего пристанища. Теплым июльским утром пароход пришвартовался к дудинскому причалу на енисейском берегу. Началась высадка.

Впоследствии, много лет спустя, мне довелось читать воспоминания бывших лагерников. Они отмечают большую смертность заключенных при их длительном этапировании из одного лагеря в другой. Нам-де повезло! А может, еще как-то на то причины были: в нашем этапе в пути никто не умер. Правда, некоторые из этапировавшихся к концу пути были настолько слабы, что после высадки самостоятельно передвигаться не могли. Их усадили на телеги (насколько помню, в ту пору в Дудинке автомашин, приспособленных для перевозки людей, и тем более автобусов не было) и позади колонны везли до лагпункта. Кроме них, было несколько человек из уголовной братвы, изуродовавших себя еще в Красноярске перед отправкой в этап.

К ним дважды в день, а к некоторым иногда и чаще спускались в трюм медработники в сопровождении конвоиров (всего можно ожидать от «членовредителей»), делали перевязки, промывали глаза... К концу пути у большинства раны затянулись, несмотря на антисанитарные условия. Эта категория людей подобные «операции» выполняла с таким расчетом, чтобы видимость была, а опасности для здоровья никакой. Случалось, что некоторые «ухари», перусердствовав, разрезали брюшину до самых кишок, а в тюрьме разрывали швы с целью расстроить еще не зажившие раны. Они имели довольно жалкий вид. Сразу из трюма их выносили санитары и укладывали на телеги. От них исходил тлетворный запах, и смотреть было муторно.

После окончания формальностей старший охраны сделал некоторые перестановки среди конвоиров, и вся «кавалкада» двинулась медленно и тяжело. От причального сооружения, если можно так назвать ледяное пристани-

ще, где пришвартовался наш пароход, до лагпункта было примерно два — два с половиной километра. На просторных обочинах дороги кучками стояли местные жители. Хотя такие шествия заключенных были для них уже обычным явлением, всякий раз толпы зевак с любопытством, некоторые — с жалостью провожали взглядами арестантские колонны. Спустя несколько лет мне тоже довелось топтаться в толчее многочисленной толпы празднующейся публики и быть свидетелем самых последних этапов.

Лагерь, куда нас вели, размещался в восточной части селения Дудинки. От берега Енисея мы прошли несколько улиц. Последняя, улица Ленина, обрывалась (в ту пору она только начинала застраиваться) метрах в ста перед железнодорожной станцией. В этом месте колонна свернула немного влево, а затем по довольно широкой проселочной дороге двинулась прямо на восток. С левой стороны был пустырь (теперь там стадион, в годы реформ пришедший в запустение), справа тянулось большое озеро, вокруг которого кое-где виднелись немудреные жилые избушки. Один его берег почти вплотную подходил к железнодорожным коммуникациям и станционным постройкам, а другой обрывался совсем недалеко от лагерной зоны.

Теперь железнодорожная станция, после многих перестроек и реконструкций, имеет совсем другой вид. Все деревянные строения давно сломаны, еще до начала реформ. Одно только бревенчатое здание вокзала долго стояло заколоченным. Несколько лет назад сломали и его. А жаль! Пусть бы оставалось как памятник первым железнодорожникам самой северной в мире железной дороги. Мне не изменяет память; последним начальником Дудинского желдорцеха, что покинул старый дудинский вокзал, заколотив окна и двери своего кабинета, был Константин Тимофеевич Болдырев. Долго, с самых первых лет образования комбината, работал на железной дороге, многие годы был начальником дудинских железнодорожников, повсюду одинаково добросовестно и безупречно работал на других, не менее ответственных постах в Дудинском порту. Много труда и сил вложил в развитие северного комбината, гиганта советской металлургии. Ушел на пенсию, проработав около 50 лет. Хороший был работник, а в общении простой, никогда и ни при каких обстоятельствах не терявший чувства юмора, порядочный, отличный человек.

Привокзальное же озеро (Станционное) теперь тоже почти все засыпали и застроили.

Не дойдя метров тридцать до лагеря, колонна остановилась. Перед нами вытянулся довольно длинный забор из колючей проволоки, посередине которого стояли широкие ворота с проходной вахтой. За долгие годы много людей прошло через них. Весь лагерь хорошо просматривался. Его территория широким прямоугольником уходила вверх по отлогому склону в сторону виднеющихся вдали довольно высоких горных холмов и оканчивалась, немного не доходя до их основания. Вверху, сразу за зоной, проходил узкоколейный железнодорожный путь от Сортировки на девятнадцатом пикете до угольного участка, развалины которого уцелели и до сих пор.

Иногда мне приходится бывать в тех местах. Теперь там пустынно и тихо, особенно в безветренную погоду. Гляжу на длинные траншеи, выкопанные в земле (копали тогда вручную). В них сохранились деревянные эстакады для транспортеров. Время мало тронуло их, так прочно они были сделаны.

ХРАМЫ

И, не спрашиваясь, вползает раздумье: так крепко раньше строили церкви. Что же заставляло выполнять работы так добротнo? Страх или совесть?

С эстакадами понятно: страх. А церкви? Тут, наверное, и то, и другое. И все-таки кажется, что больше действовал страх. Попробуй «подхалтурить» при постройке божьего храма. Как за это взыщут на небесах, если здесь, на земле, церковники (божьи заместники) сжигали на кострах тысячи людей только за инакомыслие? И думать не могли об этом (куда там большевикам тягаться со святыми инквизиторами по изощренности вправления мозгов). И ничего. Никто не корит теперешних божьих проповедников за грехи их далеких предшественников. Как будто так и должно быть. Во искупление чужих «грехов» возводят разрушенный в Москве Храм Христа Спасителя. Всем «миром» копошатся, торопятся. Даже последние кирпичи положили верховные правители. Вероятно, для прочности. Как-никак, а государевы «длани» прикасались к стенам.

Только зачем с такой поспешностью? Неужели затем, чтобы миллионы измученных, мечущихся людских сердец, изуродованных и истерзанных перестройкой да рыночными реформами, в нем нашли себе духовное успокоение? *Может, лучше бы построить для не имеющих «ни кола, ни двора» пусть убогие комнатухи, где смогли бы отогреть они свои заледеневшие души. Ну, хоть немногим на первой поре. Господь-то, наверное, по-другому оценил бы и воздал по заслугам. Неужели никто не догадался?*

А храм строят и спешат. Для чего и зачем? Может, недомыслию, нужен он, чтобы смогли вновь обрести люди утраченные страх и совесть? Много ли найдется сейчас счастливых, не растративших эти бесценные качества? Не могу знать. Но зато хорошо понимаю, что, если у кого и остался страх, так только перед рэкетирами, а совесть... ее у всех давно хватил паралич. Может, звон колоколов Храма укажет путь к истине и повернет паству на исполнение добрых и богоугодных дел (а то ведь и разбойник крестится, когда вытаскивает нож для грабежа). Тогда пусть скорее зазвучит призывный набат, чтобы прозрели люди и своими деяниями приблизили «светлое будущее». Только вряд ли. Ведь служители церкви обещают «царствие Божие на небесах».

Ушли и рассеялись по всей земле, словно растворились в вечернем тумане, первые «старатели» с самых тяжелых северных строек. Никого не осталось из них, да и лагерные строения тоже разрушили. Остался только железнодорожный путь. Он действует и поныне. Проходит той же трассой, что и прежде, только вагоны и рельсы заменили на широкую колею. В те времена по нему возили уголь, и довольно много, к берегу Енисея для погрузки на пароходы. Теперь вывозят нефтепродукты в Норильский комбинат с нефтебазы. Ее построили много позже, ниже по течению, за угольным участком, на самом высоком берегу Енисея.

ТРАНЗИТ

Колонну в транзитный лагерь запускали долго. Сверяли списки с формулярами. К самому утру закончилась эта нудная процедура.

Впрочем, мало кто заметил, когда наступило утро: в это время над Дудинкой стоял полярный день. На транзитном лагункте (его называли по-всякому — расформиро-

вочный, пересыльный, но больше транзиткой) нас продержали недолго. На третьи сутки всех распределили. Большую часть людей, в основном политических заключенных, направили в центральный дудинский лагерь — четвертое лаготделение. В порту разворачивалась навигация, людей требовалось много. «Бытовиков» и уголовников, за малым исключением, отправили в норильские лагеря. Начальником транзитного лагункта в те далекие времена был Павел Петрович Самошин. Он немного поработал в этой должности и перешел в порт. Сначала был начальником лесопиления (в нашем же лесном хозяйстве), а потом долгое время начальником морских причалов.

Мне посчастливилось остаться в Дудинке и попасть в четвертое лаготделение. Кроме него, было еще несколько лагунктов: один на девятнадцатом пикете, другой — на судовой и где-то еще, небольшой, для расконвоированных, но тот я уже не помню. Четвертое лаготделение размещалось в самом центре селения Дудинки и имело форму квадрата, довольно внушительных размеров, огражденного в один ряд тремя нитями колючей проволоки. Охранялся лагерь слабо: бежать практически невозможно. В моей памяти был один случай, но окончился он неудачно. Все жители в поселках и деревушках по берегам Енисея были строго предупреждены, и беглецам не оказывали никакой помощи. Наоборот, их выдавали властям. Такие случаи в первые годы образования лагерей имели место.

На каждом углу лагерной зоны стояли караульные вышки: две — параллельно берегу реки Дудинки и две — со стороны дудинского села. Размещались в такой последовательности: одна — на месте теперешнего здания станции перекачки, другая — там, где торговый центр. Соединены забором из колючей проволоки, в середине которого была большая контрольно-пропускная вахта, они как бы замыкали лицевую сторону (фасад) лагеря. Вторая пара отстояла от береговой примерно метров на 700 — 750. Одна из них была на правом берегу Ароматного ручья, другая — с внутренней стороны теперешнего магазина «Енисей». Все четыре стороны были обтянуты колючей проволокой в три нити (убежать было легко, но никто не пытался: куда?), сквозь которые было хорошо видно, что происходит на воле, а дудинские жители видели жизнь заключенных. Иногда переговаривались между собой.

Фасад лагеря был обращен в сторону устья реки Дудинки, где на правом ее берегу виднелись бревенчатые причалы. Они и сейчас там же, только стали много выше и растяннулись далеко по береговой линии вверх и вниз, оделись в прочный бетон.

Уже много лет с наступлением навигации на причалы спускают такое большое количество кранов, что они закрывают собой величие енисейского раздолья.

Параллельно лицевому забору, а он начинался чуть дальше вышки почти от самого управления порта (теперь в этом здании после многократных перестроек магазин «Долгун»), пролегал железнодорожный путь, идущий на морские причалы. Между ним и забором была неширокая пешеходная дорога (теперь объездная трасса для автотранспорта), по которой расходились бригады заключенных грузчиков на морские и речные участки для обработки барж и вагонов. Они выходили из лагеря через контрольно-пропускную вахту (на этом месте сейчас здание АБК третьего района) и сразу же расходились без всякого конвоя

(производственные объекты порта со стороны селения тоже были огорожены) по своим рабочим местам.

В лагере, кроме главной, было еще две вахты. Одна стояла на южной стороне, где сейчас разместился магазин «Орфей», другая перед поликлиникой, на месте Дома геологов, как раз посередине. Через южную зону выпускали заключенных для работы на лесозаводах и лесобирже. Через нее же принимали и отправляли этапы заключенных, которых перед началом навигации привозили с Большой земли, а после ее завершения лишних рабочих увозили в норильские лагеря. И так повторялось из года в год.

НА НОРИЛЬЛАГ

Для перевозки заключенных от Дудинки до Норильлага были оборудованы специальные составы из теплушек с нарами и встроенными печками-буржуйками.

Вагоны были рассчитаны на узкоколейку, со многими неудобствами. Главное — теснота. А ехать от Дудинки до Норильска приходилось по многу суток. Особенно долго «ползли» последние этапы, глубокой осенью. Снежная пурга наносила такие сугробы, что поезда останавливались и стояли, пока не расчистят рельсы. Расчеткой же путей занимались заключенные. Их лагеря находились в непосредственной близости от станционных «вокзалчиков», которых было довольно много на протяжении всей железнодорожной трассы.

В «ГУЛАГе» Солженицына есть эпизод, когда из Дудинки в Норильск везли заключенных на открытых платформах в полярный мороз. При этом «блатари» садились в середину вагона, чтобы их обогревала «скотина» (т.е. просятые заключенные). О таких случаях ни от кого не слышал и ничего подобного не видел сам. Опровергать не берусь: уж больно велик писатель. Но сомнение одолевает: при таком способе транспортировки в лютые морозы, да еще с ветерком (а он обязательно возникает при движении поезда, даже если вокруг полный штиль) больше двух-трех часов вряд ли кто вытерпит (превратятся все в ледышки).

ПРИЧАЛЫ

В зимний период на причалах в порту работала небольшая бригада грузчиков: техматериалов и прочих грузов оставалось очень немного.

Весь объем работ был на лесозаводах и лесобирже. Здесь всегда, работать было тяжело. Через вторую (северную) вахту выводили заключенных работать на угольный участок и строящиеся объекты в Дудинке. Кроме них, пропускать всех работников управленческого персонала (в то время в отделах и службах управления количество заключенных доходило до 90 процентов). Все они были расконвоированными и имели свободный вход и выход из лагеря. Через нее же выпускали и освобождающихся.

Северная и южная вахты соединяла натоптанная проселочная дорога, трасса от которой сохранилась и до сих пор. Сейчас по обеим ее сторонам стоят дома улицы Горького. Кроме них, на бывшей территории лагеря разместились жилые корпуса: улицы Бегичева, 40 лет Победы, Андреевой, часть Островского, школа-интернат. Все эти здания поднялись после ликвидации лагерной системы. Особенно бурно в шестидесятые и семидесятые годы. Ну, об

этом знают многие. А тогда вдоль этой дороги стояли здания лечебно-профилактического и бытового назначения: поликлиника со стоматологическим кабинетом, хирургическое отделение, парикмахерская, клуб, комендатура, кухня, много барачков. Дальше, в глубь зоны, с восточной стороны, были терапевтическая больница, здание штаба лагеря (администрации), большой барак КВЧ, бухгалтерия, хлебозерка и жилые бараки. На другой стороне дороги, ближе к речке, стояло банно-прачечное заведение с отделением почты (потом его долго использовали как дом техники безопасности порта), склады и ближе к самой вахте двухэтажные жилые бараки. Женщины жили в двухэтажном кирпичном доме. В нем потом было управление торговли.

В самом центре лагеря, недалеко от административного здания, стояла деревянная эстрада, на которой участники художественной самодеятельности из заключенных довольно часто выступали вечерами с концертами или спектаклями. В зимнее время эти мероприятия проводились в закрытом клубе.

Кроме того, эти помещения использовали и для проведения производственно-хозяйственных мероприятий. Случалось, что кружок художественной самодеятельности выступал в клубе порта перед вольнонаемными гражданами. Надо отдать должное: все лагерные здания и строения были более благоустроены, чем дудинские жилые домишки. А поликлиника с больницей не уступали по обслуживанию и лечению городским лечебным учреждениям, а в некоторых были намного лучше.

Главной отличительной чертой всего медперсонала (а это замечалось и в омских лагерях) было человеческое отношение к больным. Через несколько месяцев по прибытии в Дудинку мне довелось опять «проваляться» в лагерьной больнице около трех месяцев. Поэтому знаю все не понаслышке, а испытал на себе. Я и сейчас храню самую добрую память о многих лечащих врачах. Главный врач терапевтической больницы Алексей Владимирович Орлов, главный хирург Василий Ионович Петухов. Оба из бывших заключенных, были осуждены по политическим мотивам, проходили по «процессу Кирова». Вряд ли они имели хоть малейшее отношение к этому делу. И тот, и другой отличались суровой справедливостью. Не отступали, не нарушали своих медицинских постулатов и заповедей. Свято соблюдали клятву Гиппократа. Милосердие и сострадание исходило от них до каждого больного, независимо от того, за какие преступления он осужден.

Боюсь, что эти понятия через два-три года «перестройки» исчезнут совсем из нашего лексикона. Сохрани, Всевышний, теперешних эскулапов (медицинских работников), чтобы в этом реформаторском беспределе их не затянул «рыночный живоглот».

ЧЕТВЕРТОЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ

Из всех лагпунктов, лагерей и прочих мест заключения, где мне довелось отбывать свой срок, четвертое лаготделение в Дудинке было самым сносным.

Это понял быстро, вопреки всем страхам, которых слышался на Злобинской пересылке и в трюме парохода, пока плыли по Енисею. Освоившись, уже через несколько дней я имел первые и довольно успокоительные представ-

ления. Все бригады в бараках размещались отдельно. Каждая имела свое помещение. Кормили неплохо. Во всяком случае, голодных не было, несмотря на то, что 1946 год был неурожайным. Почти не было воровства, грабежей, бандитизма. Порядок был строгий. Нарушителей находили быстро и с первыми же этапами отправляли в норильские лагеря. Говорили, в них было много хуже (не был, не знаю).

Много лет спустя, когда заключенных в Дудинке уже не было, я понял, отчего такой режим сложился в общей системе дудинских лагерей. Это исходило из нескольких обстоятельств. Первое — основной контингент заключенных состоял из политических или «бытовиков», осужденных за хозяйственные промахи. Во-вторых (и, пожалуй, это было главным), администрация лагеря в определенной степени подчинялась руководству порта. Взаимоотношения у них были деловыми. Лагерное начальство выполняло все распоряжения, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности, иногда в ущерб режимным инструкциям.

Руководители порта — Василий Николаевич Ксинтарис, Тимофей Гаврилович Стифеев, Владимир Николаевич Всесвятский, Михаил Иванович Лазарев, М. С. Штерк со своими заместителями и многие другие начальники подразделений — держали самую тесную связь с производственниками из заключенных, находились очень часто не только на рабочих местах (особенно, когда складывались трудные ситуации, а их бывало в те годы немало), но и посещали лагерную зону. Особенно частыми их визиты были в преднавигационные месяцы и навигационную пору.

Для проведения собраний или просто бесед использовалась летняя сцена. На ней размещалось руководство порта, а вокруг эстрады собиралась большая толпа заключенных. Организацией таких мероприятий занимались нарядчики и бригадиры. Заключенными и руководителями порта обсуждались самые различные вопросы, происходил обмен мнениями по всем насущным проблемам. Бывали такие сходки и в зимний период, но реже. Тогда собрания проводились в клубном зале. Он, правда, был небольшой и вмещал около ста человек.

Приглашались, в первую очередь, бригадиры, звеньевые, мастера, прорабы. Большинство из них были расконвоированные, но жили в лагерной зоне. (Расконвоирование мастеров, прорабов, начальников отделов и участков исполнялось лагерной администрацией по представлению руководителей порта и предусматривало возможность свободно выходить и возвращаться через вахту в любое время. Иногда они задерживались на работе долго.)

С руководителями порта, как правило, приходили начальники крупных подразделений: морского, речного, лесного. Я тоже частенько, особенно летом, присутствовал и до сего дня многого не забыл. Характерной особенностью собраний было то обстоятельство, что сами руководители говорили очень мало. Расскажут о главных навигационных проблемах или трудностях на более важных строящихся объектах, которые нужны «позарез» (чем скорее их отстроят, тем легче и производительнее будут выполняться работы на том или другом участке), и сразу же разрешили говорить заключенным. А те говорили обо всем и долго. Затрагивались вопросы о питании, спецодежде, бытовых условиях на производстве. Ничего не оставалось без внимания.

Конечно, не все удовлетворялось. Но уж если что обещали, то выполняли безоговорочно.

СОБРАНИЕ

Однажды я присутствовал на очень большом лагерном собрании. Приезжали руководители комбината А. А. Панюков и В. С. Зверев. Вместе с ними, кроме начальников порта и подразделений, были руководители городских организаций.

Вопрос был один: как спасти замороженную древесину осенью в навигацию 1948 года? Замораживали лес во льду в те времена почти каждый год. Потому и прикатило руководство комбината из Норильска для обсуждения сложившейся обстановки.

Всех заключенных сначала собрали в лагере, а потом проводили такие собрания на лесобирже. Присутствовали руководители городских организаций. Через партийные органы и исполком мобилизовали почти всех работников. Даже секретари райкомов со своими службами приходили помогать. Бралась за лом и лопату. Да не просто держались за ручки, а старались не отставать от других (им ведь тоже устанавливали задание). У всех была одна гнетущая забота: надо было спасти всю древесину, успеть выкайлить изо льда до весны. Время было крутое и суровое (окончилась легкая «оттепель» 1945-48 годов). Спрашивали с самого верха до последнего сторожа за любые упущения со всей строгостью. Лес спасли. Все обошлось. Но через несколько лет произошла такая же история, только в еще больших размерах. И опять повторилась такая же «суматоха».

В навигацию 1952 года приплавили около 30 плотов — 537 тысяч кубометров. Из этого объема около 290 тысяч кубометров выгрузили на лесобиржу, а остальное осталось в затопляемой зоне, причем больше 100 тысяч кубометров оказались замороженными во льду.

Для координации работ по спасению древесины сразу после ледостава был создан штаб. В него вошли руководители порта и Норильскнаба. Возглавил его Тимофей Гаврилович Стифеев (в это время он работал начальником Норильскнаба). Тимофей Гаврилович имел уже довольно большой опыт. Ведь в зиму 1948-1949 годов он, будучи начальником Дудинского порта, вплотную занимался подобными «лесными делами». Он редко в эту зиму отлучался из Дудинки. Только уж когда назревала острая необходимость в решении снабженческих вопросов на комбинате.

Начальником Дудинского порта в то время был А. А. Афанасьев. Прибывший на эту должность совсем недавно, он не смог взять сразу все руководство таким большим и ответственным мероприятием. Очень большая, пожалуй, тяжесть пришлась тогда на долю Михаила Ивановича Лазарева, главного инженера порта. Всю зиму он редко уходил с лесного «побоища» раньше глубокой ночи. Имея очень неуравновешенный характер, требовательный к себе и подчиненным, он нередко вступал в конфликты с «верхами», чем вызывал недовольство вышестоящих руководителей. Но за его трудолюбие и довольно убедительные успехи ему многое прощали. Лес и в этот раз весь вырубил из льда и вывезли. Только работать приходилось всем очень много и напряженно. Ответственность у людей была на высоком уровне.

ССЫЛЬНЫЙ ПОСЕЛЕНЕЦ

Осенью 1950 года, после закрытия навигации (я в то время уже второй год был на свободе, правда, на положении ссыльного поселенца), довелось присутствовать на довольно большом собрании в клубе порта. Зал был полон. Некоторым даже пришлось стоять в проходах. За столом президиума все места заняты. С самого края рядом с трибуной сидел начальник комбината Владимир Степанович Зверев (тогда еще не было должности «директор»). Докладывал Василий Николаевич Ксинтарис о выполнении задания, порученного ему лично В.С.Зверевым по доставке огнеупоров. Лето уже кончалось, когда ему было дано это поручение.

Василий Николаевич просто и доходчиво, будто в порядке вещей, рассказал, как ему приходилось «выколачивать» из диспетчеров железных дорог «зеленый свет» для вагонов с грузом (а гнать их пришлось чуть ли не через всю страну), потом перегружать на баржу в Красноярске и доставлять в Дудинку по замерзшему Енисею. В.С.Зверев поблагодарил всех участников (большинство их присутствовало в зале, а часть находилась в президиуме) этого ледового рейса и зачитал приказ о премировании.

Великими трудами строился комбинат. Пройдет совсем немного времени, и В.Н.Ксинтарис с большой группой руководящих работников уволится с комбината и отбудет за пределы Таймыра. Вскоре уйдет со своего поста начальник комбината В.С.Зверев. Истинных причин их ухода с комбината я не знаю. А пользоваться слухами, коими были тогда полны коридоры многих учреждений, не могу.

В решении всех навигационных задач всегда самое непосредственное участие принимали норильскснабовцы. С самых первых дней после ледохода, когда уровень воды в Енисее позволял на причалах производить разгрузку барж (причалы открывались на отметке шесть метров), все руководители отделов Норильскснаба приезжали в Дудинский порт. Без промедлений норильскснабовцы и портовики приступали к оприходованию, оформлению грузов.

Распределяли товарно-материальные ценности по предприятиям Норильского комбината. Одни отправляли вне всякой очереди, другие оставляли на складах порта. А вагоны? Их было очень много (ведь тогда была узкоколейная железная дорога), и на каждый выписывался отдельный документ. Все операции выполнялись вручную, в большинстве прямо на причалах. Помещений не было. Работали по 12 часов в две смены. Некоторые из норильскснабовцев приспособивались работать в бригадных балках и даже стрелочных будках.

Меня в первую же навигацию, как приехал, взяли в группу учета (считать и писать умел, десятилетку почти окончил), и я работал вместе с ними. Хорошие и дружные были ребята. Никто из них в те времена ни на что не жаловался. Видимо, эта положительная черта передавалась из поколения в поколение. Они и сейчас такие же. У самих же снабженцев в Норильске условия для работы в те годы тоже были далеки от совершенства. Их контора, где мне довелось побывать, помещалась в одноэтажном бараке. О каких-либо отдельных кабинетах никому и не мечталось. Это уж потом, много лет спустя, выстроит большое кирпичное здание, в котором разместится весь снабженческий аппарат. И тянутся оттуда служебные и хозяйственные связи во все регионы страны.

Чем можно измерить всю энергию и силы, что вложили многие поколения портовиков и снабженцев в приобретение, завоз не только из всех республик страны, но и из многих стран мира, перегрузку и отгрузку в портах и на железнодорожных станциях оборудования, механизмов, товаров, изделий? Нет такого закоулка в стране, где бы ни побывал норильскснабовец или снабженец порта — все дороги исхожены и изъезжены ими вдоль и поперек. Разве можно все перечислить, что ушло на строительство таких огромных городов на самом краю земли и создание всех условий для нормального проживания? А заводы!? Эти гиганты на вечной мерзлоте? Нет им равных в мире. Трудно было всем.

Впрочем, сейчас работникам порта и снаб тоже не легко. Появились другие сложности, на решение которых требуется несколько не меньше напряженности и изворотливости ума.

ВОЛЬНЫЕ И ОСУЖДЕННЫЕ

Огромное, а может быть, решающее влияние оказывали на всю хозяйственную, производственную деятельность порта личные взаимоотношения между заключенными и вольнонаемными работниками, особенно высшими должностными лицами порта: здесь не было панибратства, но и не было отчужденности. Со стороны вольнонаемных руководителей не допускалось оскорбительных выпадов, они не выпячивали свое превосходство ни в работе, ни в общении с подчиненными. Вели себя с заключенными, как с равными, несмотря на то, что такие отношения не поощрялись некоторыми властными структурами.

Бывали случаи, когда заключенный «бытовик» или уголовник обзывал политзаключенного «контриком» или «фашистом». Никогда ничего подобного я не слышал от вольнонаемных людей, будь то большой руководитель или простой служащий. С большинства руководителей можно было брать пример мужества и трудолюбия. Их спокойная уверенность, простота, смелость и непринужденность в обращении в одинаковой мере как с низшим по должности, так и с руководством, оперативное принятие решений при обсуждении хозяйственных задач сразу же при обсуждении их на собраниях произвели на меня незабываемое впечатление. Эти люди, сменяя один другого, как бы по эстафете передавали свои лучшие человеческие качества, производственные традиции, каждый по-своему дополняя и совершенствуя их.

Они оставались такими же (а если и изменились, то только в лучшую сторону) и после полного расформирования и ликвидации всей лагерной системы в Дудинке. Мне всегда хотелось быть хоть немного похожим на них, приходили такие мысли, но они мне самому казались настолько дерзкими, что я тут же изгонял их из головы: куда уж тебе тянуться за ними? По своему положению в ту пору я был от них как бы на противоположной стороне. Но и тогда, и тем более теперь (за многие годы жизни сумел многое осмыслить) сохраняю самое глубокое уважение.

Почти все руководители порта, — начиная с А.А. Панюкова, который стал начальником комбината, а далее В.Н. Ксинтарис, Т.Г. Стифеев, В.Н. Всесвятский — были переведены на более высокие должности. Сначала — начальниками управления снаб, потом — на другие ответ-

ственные посты. Но при всем этом связь с Дудинским портом, да и городом Дудинкой (в 1955 году она получила статус города) сохраняли.

Были и досадные исключения. В период последнего разгула бериевских притеснений (1948 — 1952 гг.) в Дудинском порту на должность начальника был назначен некто Н. До этой должности он работал начальником первого отдела НКВД. Оставаясь по духу службистом самой могущественной силовой структуры, он и в должности начальника порта проводил политику укрепления лагерного режима. Совместно с руководством лагеря это ему удалось в значительной степени. При его коротком правлении в идеале были выполнены инструкции по содержанию заключенных в ИТЛ: осуществлено полное изолирование женщин от мужчин как в быту, так и на производстве.

Для этого в общей производственной зоне порта была полностью выгорожена лесобиржа, на которой работали только женщины, выполняя самые тяжелые операции труда: отгрузка бревен на вагоны, раскатка их в штабеля и так далее. Все делалось вручную. Это был для женщин очень тяжелый труд (сейчас ни одного мужика не заставишь выполнять эту работу!). Во время войны нашим женщинам по всему Советскому Союзу приходилось несколько не легче. Но тогда шла война, велась беспримерная битва всего человечества с охватившим полмира злом, и только безысходность принуждала их к каторжному труду. У них не было выбора, все мужики были на фронте.

Конечно, могут возникнуть сомнения, потому что Н. действовал по инструкциям сверху: были указания о содержании женщин отдельно от мужчин. Да, были. Но такой инструкции, где бы указывалось, что они (женщины) должны грузить бревна, да еще вручную, наверняка не было... И тем более, когда прошло уже больше пяти лет после окончания войны, не было совершенно никакой необходимости направлять их на такой тяжелый труд.

И первое, что сделал В.Н.Весвятский, став руководителем порта, разломал эту систему.

Я ни в какой мере не утверждаю, что в НКВД были только жесткие и бессердечные надсмотрщики. Одно время начальником четвертого лаготделения был Василий Серов. Я его совсем не знал. После нашего прибытия он очень недолго работал в дудинских лагерях и был переведен в Восточную Сибирь, тоже начальником, но только еще более крупного лагеря. Там у одной из заключенных женщин умерла на Украине мать. Он, нарушив все инструкции, отпустил эту заключенную на похороны, за что был снят с работы. Об этом мне рассказал много лет спустя один из его знакомых, живший тогда в Дудинке.

Всекие люди были в НКВД. Конечно, покопавшись в памяти, можно отыскать (да если еще к этому будет подталкивать озлобленность) много мрачных эпизодов. Но в нашей прессе достаточно уже написано о сталинско-бериевском ГУЛАГе, причем некоторые авторы не избежали в своем рвении и кое-каких издержек. Поэтому я ограничусь только одним фактом.

В большой плеяде руководителей порта той далекой поры удивительно замечательным по своим человеческим качествам, высокообразованным и образованным был Александр Александрович Афанасьев. Он прибыл на должность начальника порта во второй половине 1952 года. Это был очень тяжелый период в Дудинском порту. Незна-

комая специфика работ, многоукладность хозяйственной деятельности, непривычная обстановка, очень разнообразный контингент работающих. А самое главное — он еще не был реабилитирован после освобождения из заключения и потому не восстановлен в партии. Все это очень мешало ему сориентироваться и вписаться в своеобразный и очень сложный коллектив.

Он не мог присутствовать на партийных собраниях (в то время они были в основном закрытыми), где решались производственно-хозяйственные задачи, обсуждались важные проблемы строительства, а потому зачастую многие его решения расходились с постановлениями партийных органов.

Тяжелый межнавигационный период 1952 — 1955 годов. Затянувшийся весенний паводок (в тот год подъем воды был более 18 метров, а спад очень медленным, что сдерживало подготовку причалов к началу навигационных работ) наложил негативный отпечаток на стиль его работы. Руководство комбината сделало выводы... Поспешные или нет? Не могу судить. В первый навигационный месяц 1953 года он был понижен в должности и переведен начальником водного участка в порту, откуда вскоре уехал в Москву, где и занял по праву высокий пост.

Что можно сказать? Судьба у каждого своя. Иногда делает крутые виражи. После ликвидации лагерной системы в развитии Норильского комбината, Норильскнаба, Дудинского порта многое изменится. Пройдет немного лет, и на фундаментах, заложенных первопроходцами, поднимутся благоустроенные города, и жить в них будут совсем уже другие люди. А тогда? Передо мной лежала длинная дорога, и где-то далеко в беспросветном тумане скрывался долгожданный день освобождения.

ТЯГОТЫ ЛЮДСКИЕ НЕПОМЕРНЫЕ

Ледоход на Енисее в 1948 году пришел в Дудинку поздно. Последние его ледовые поля проплыли мимо дудинских берегов 15 июня. Вслед за ними из-за поворота реки появился пассажирский пароход. Собравшиеся на берегу жители сперва увидели вдаль, на горизонте столб дыма, затем трубы, и уж потом над водой поднялся весь его белый корпус.

Прошло не менее двух часов, прежде чем пароход пришвартовался к месту высадки пассажиров. Погода была теплой, и народу встречать его пришло много. По всему берегу стояли одетые в разноцветные одежды люди: соскучились по теплу и долгожданным встречам.

Весь берег, насколько хватал глаз, был загроможден огромными горами льда, по их островерхим выступам карабкались и лазили ребятишки (это делают они и сейчас). Правда, таких «небоскребов», что были раньше, теперь ледоход не наворачивает.

В порту, в устье реки Дудинки, кипела работа. Надо было прорыть сквозь ледовые нагромождения туннели до самой земли для укладки железнодорожных путей.

Тысячи людей, с кайлами, кирками, ломали и крошили ледяные глыбы по всей невидимой еще железнодорожной трассе. В ту пору к началу каждого ледохода развинчивали и убрали все железнодорожные пути, до которых могли во время паводка «доползти» ледяные поля. Берегли рельсы и особенно стрелочные переводы.

Сразу же после ледового натиска приступали к восстановлению без малейших задержек. Установка была предельно проста: от воды не отставать (то есть, укладка рельсов и строительство железнодорожных путей должны идти без всяких срывов за спадом воды).

Вскоре подошли первые баржи. И хотя все причалы были еще глубоко под водой, некоторые суда начали разгружать через намороженную на береговом откосе в районе лесобиржи ледяную дамбу. Через нее же загружали в разгруженные суда металлопродукцию комбината.

«Ну, вот, — с тихой радостью думал я. — Это моя третья и последняя навигация в Дудинском порту».

Лето в этот год выдалось теплым. Навигация прошла без каких-либо непредвиденных случайностей.

Ушли последние караваны судов.

На причалах работы остановились, только на лесобирже еще долго выгружали бревна. Их так и не успеют выгрузить полностью до ледостава, хотя первая половина октября тоже была теплой. Уже были отправлены в Норильск последние этапы заключенных из четвертого лаготделения. Осталось только несколько бригад грузчиков для отправки грузов с причалов, но их вскоре переведут в строительную контору «Портстрой».

Дни становились все короче и короче, подступала завершающая лагерная зима. За эти годы я успел привыкнуть к лютым северным морозам, с неистовыми пургами (особенно было холодно в зиму 1946 — 47 годов), к полярным ночам с северными сияниями, неистребимым тучам комаров в летнюю пору, сумел приспособиться ко всем лагерным неудобствам и превратностям. Оттого приближение холодов меня не тревожило.

Началась размеренная, тихая жизнь, как и всегда после окончания навигации. Работы оставшимся хватало на всех, но через силу никого не заставляли работать. Я отсчитывал оставшиеся дни, на душе становилось спокойно.

Правда, иногда возникало сомнение: ведь ТАМ тоже нужно работать, а у меня никакой специальности? Но откуда-то приходило успокоение: землю копать умеешь, мешки с мукой, сахаром и прочими продуктами потаскал и наловчился, о чем же печалиться?!

Да и годов не много. Проживу, не пропаду. И сразу становилось весело. Но! Вдруг в начинавший «дремать перед зимней спячкой» поселок грохнулся «огромный валун», всколыхнувший не только заключенных лагеря, но и многих жителей Дудинки.

Стало известно, что в администрацию лагеря пришло указание об отправке всех заключенных, отбывающих сроки за политические преступления, в спецлагеря. О том, что в Норильске, в системе Норильлага, «сортировка» заключенных по политическим признакам производится давно и уже часть заключенных переведена в такие лагеря, знали и говорили много раньше и в Дудинском лагере. Но у нас пока все ограничивалось только разговорами, и никаких действий не проводилось. Даже не было предпосылок. Когда же были отправлены, как обычно, заключенные из «бытовиков», уголовников и так далее, вся лишняя после навигационной страды рабочая сила, совсем все успокоилось.

Но затишье было недолгим.

Работники УРЧ, и в первую очередь нарядчики, все откровеннее стали говорить, что в самые ближайшие дни будет отправлен большой этап. И ни для кого не было тай-

ной, что его будут отправлять в спецлагеря. Дело только за оформлением документов. Вскоре у многих расконвоированных отобрали пропуска свободного выхода и входа через лагерную зону.

Когда же узнали, что многие бывшие политзаключенные, проживающие после освобождения в Дудинке, были вызваны в МГБ, и там, по решению суда «Особого совещания», определили каждому пожизненную ссылку на Таймыре, последние сомнения у всех рассеялись.

Многие из политзаключенных стали готовиться. Впрочем, это слово «готовиться» мало подходит. Собрать вещи — дело пятнадцати минут, а вот подготовить себя морально — совсем не так просто.

Через несколько дней уже многие знали, кого поместили в «черных списках». В основном это были заключенные, осужденные за террор, измену, предательство, диверсии... Их считали самыми серьезными преступниками, хотя большинство к подобным делам не имели никакого отношения. Отбывали наказание из-за черной людской подлости, оговора и клеветы. Уезжать не хотел никто (впрочем, такое наблюдал во всех лагерях). Эти люди уже по многу лет сидели в дудинских лагерях, обжились довольно основательно, многие работали на привилегированных должностях: работники управления порта, начальники участков, мастера и другие специалисты. Они составляли высококвалифицированный костяк коллектива, были самыми ценными работниками в порту.

Продолжение следует.

Владимир ТКАЧЕНКО

*Возраст — 16 лет. Студент педучилища г. Норильска.
Участник литобъединения “Водолей”.*

Ты был умен,
Ты был красив,
Твоя звезда горела ясно,
Она светила и не гасла.
И будней вычурный курсив
Писал дни жизни равномерно.
С тобой я счастлив был безмерно,
И счастьем не было конца,
Но смерть пришла и унесла
Покой,

Любовь
И свет тепла.

Обо всем, что наболело,
Обо всем, что спеть хочу,
Просит кисть и просит тело,
Не могу писать — пишу.

Умирая — воскресая,
Пробудиться иль уснуть,
Страсть пылает не сгорая,
И огонь, не угасая,
Освещает новый путь.

Маргарита БОРОНКИНА

*Возраст — 15 лет.
Участница литобъединения
“Водолей” при ДТДЮ г. Норильска.*

Луна — фонарик для влюбленных,
И, лишь задумавшись на миг
О людях, чувством окрыленных,
Прекрасный освещает лик...

На улице ночь,
И тускло горит фонарь,
Не прогоняй меня прочь,
Старый мой друг звонарь.
Не изменяя судьбе,
Может, смогу помочь.
Я помогу тебе,
Не прогоняй меня прочь.

Татьяна ЦАРЬКОВА

Талант ее многогранен. Она пишет стихи, сценарии, сказки. Она театральный режиссер. Все, что пишет, то и ставит на сцене. В альманахе публикуется впервые. Живет в Дудинке.

САМОЕ МЯГКОЕ СЕРДЦЕ

Сказка

«Если вы думаете, что небо, например, не умеет плакать, а куры — смеяться, то глубоко заблуждаетесь...

Я могла бы поведать вам невероятное множество удивительных историй, которые, тем не менее, произошли в действительности. Могла бы... Но расскажу одну.

Она случилась... Впрочем, какая разница — когда! Он был еще очень молод. Не слишком красив. Пожалуй, чересчур худ. Совсем простой Карандаш. Так бывает. Не всем же быть Фломастерами.

Но зато у него было мягкое сердце. «ЗМ»! Самое мягкое сердце в мире.

Ее родословная восходила к древнему и загадочному роду африканских кур. Она была непохожа на своих доморожденных соплеменниц ровно настолько, насколько у вас достанет воображения, чтобы мысленно нарисовать ее портрет.

Скажу только, что Хохлатка была премиленькой. И это сущая правда! Когда она кокетливо шурила свои блестящие глазки, похожие на пару маслин, все, уверяю вас, все без исключения окрестные Петухи, распустив хвосты и подбадривая себя воинственным кличем, сходились на петушиные бои...

А Карандаш торопливо бросался к чистому листу и без устали терзал себя стремительными, нервными, но изумительно чистыми и точными штрихами. Он был само Вдохновение!

Он колдовал над бумагой, превращая ее в великолепные, захватывающие дух картины!

Не знаю, был ли он гениален, но он был... влюблен! Ничего удивительного: в центре всегда была только Она — его Прекрасная Дама! Она блистала! Она, Королева Театра Военных Действий, могла казнить и миловать!

Могла остановить бой одним только кончиком своего восхитительного крылышка!

Впрочем, что толку?

Эти огненно-рыжие, белые и черные бойцы, забияки всех мастей и сословий, сражались, презрев условности рыцарских турниров.

Они дрались! Дрались, попирая законы чести, безнадежно вышедшие из моды.

Каждая драка была не на жизнь, а на смерть. Пух и перья летели во все стороны. До первой крови. Тогда победенный был обречен. Его заклеивали насмерть.

А Дамы, особенно если они и в самом деле прекрасны, всегда (или почти всегда) любят победителей.

Кутаясь в свою роскошную пуховую шубку, Африканка гордо удалялась с ристалища, а за ней важно следовал очередной самовлюбленный и оттого еще более надменный счастливец, воображая себя по крайней мере Павлином!

И вот тут (наконец-то!), дав себе волю, молодые Наседки и старые Клуши раздражались негодующим клекотом, а их легкомысленные и изрядно потрепанные мужья в очередной раз бывали пристыжены... И прощены!

После этого Карандаш надолго уходил в себя. Он становился даже меньше ростом.

Подумать только! Целыми днями он обессиленно валялся на подоконнике, тупо уставившись в потолок.

Разумеется, время от времени его пытались взять в руки... Но это было бесполезной затеей. Карандаш отказывался творить. Под любым нажимом он ломался!

Или в считанные мгновения, словно лихорадочными поцелуями, покрывал лист десятками, сотнями дорогих профилей.

Знаете, это было непонятно! И оттого еще более странно...

В конце концов, на него просто махнули рукой и забыли.

Вам, конечно, нетрудно представить, какое жалкое зрелище являет собой заброшенный Карандаш!

Глянцевое тело, когда-то призывно и радостно манившее всеми гранями, становится одряхлевшим и разохшимся, похожим на заурядный обломок или огрызок, которых полным-полно на любой мусорной свалке.

И только в глубине каким-то чудом еще держится стержень... Теплится жизнь... Так случается, когда художник пишет сердцем. Самым мягким сердцем в мире. «ЗМ».

Даже если это простой грифельный Карандаш.

Однажды, на исходе лета, когда за окном уже по-осеннему пронизывающий ветер затеял перебранку с сухими листьями, Карандашу было особенно грустно. Вернее, невыносимо.

Тогда-то и раздалось знакомое, гортанное, похожее на мелодичный смех, кудахтанье.

В один миг Карандаш вырвался из своего пыльного, унылого, добровольного плена и жадно прильнул к оконному стеклу...

Ах, если бы вы только могли ее видеть! Ее, немного похудевшую и оттого еще более очаровательную и беззащитную, в окружении целого выводка голенастых клубочков,

беспрестанно и тоненько лепечущих что-то на своем непонятном наречии...

Временами прелестное семейство заслоняли отяжелевшие за лето, налившись жирком Петухи, лениво домогаясь прежней благосклонности.

И тогда Карандаш метался по подоконнику и нетерпеливо стучал по стеклу.

Похоже, к нему возвращались и мысли и чувства... А она... Она тихонько смеялась, склонив изящную головку набок и влажно поблескивая глазами, так похожими на пару маслин...

Первые капли дождя как бы нехотя тронули дорожную пыль, а потом дробно застучали по крышам. Пригнув шею, оголтелая петушиная братия бросилась врассыпную.

И лишь Африканка испуганно озиралась по сторонам и не понимала, что это? Откуда? И почему ее нежный белоснежный пух стал вдруг липким, тяжелым и мокрым?

Но ведь вы не забыли, что ее родственники были африканскими курами?

А там, в Африке, немногие куры знают, что такое дождь. Может, только самые древние и помнят, как бывает, когда плачет небо...

О-о-о! Оно ослепительно вспыхивает, словно вперотое безжалостным острым лезвием!

Вслед за этим мрачнеет, все чаще грохочет! Чудовищный грохот! Прямо над головой. И земля утопает в океане холодных безудержных слез.

Вот так и застала Африканку первая в ее жизни гроза. Посреди ее неведения и страха. Посредине пустого двора.

Ее тельце дрожало. Рядом, сбившись в жалкую кучку, испуганно галдели малыши... Цыплята вымокли до последнего перышка.

И тогда новые раскаты грома сотрясли двор. Но нет, они гремели совсем близко. Вот здесь, под старым навесом. И были гораздо страшнее.

— Посмотрите на нее! — бесстыдно надрывались луже-ные петушиные глотки.

— Какая она Африканка! — кричали они на весь свет.

— Это же просто... просто Мокрая Курица! — захлебывались в гнусном, отвратительном клекоте. — Мокрая Курица! Мокрая! Мокрая! Курица!

А она все пыталась прикрыться хоть чем-то, первым, что попадется под крылышко...

Честное слово, неблагодарное занятие — пересказывать эту историю!

Так и вижу ее, бедняжку, которая от стыда и обиды, собрав остатки уходящих сил, гордо вскинула голову и... опустилась прямо на землю! Только слегка трепетали ее крылья, нежно обнимая притихших птенцов.

И, клянусь, она была прекрасна! Прекрасна, как никогда!

...Вы спрашиваете, что стало с Карандашом? Он бился о стекло, оставляя на нем очертания существа, которое любил больше жизни.

А потом как-то внезапно застыл и внутри него что-то хрустнуло.

А еще через мгновение он покатился по подоконнику и замер. Теперь уже навсегда. Наверное, не вынесло сердце. Слишком мягкое. «3М!»! Самое мягкое сердце в мире...»

Так закончила свою сказку старая, совершенно седая курица, с глазами, все еще похожими на пару маслин.

Маргарита БОЯРСКАЯ

Родилась в Енисейске. Выросла в Дудинке. Закончила Ленинградский пединститут им. Герцена. Работает логопедом в общеобразовательной школе. Живет в Норильске.

ПОЖАР В ДУДИНКЕ

Помню пожар. Горел дом культуры. Высота пламени по всему фасаду. Здание было деревянное, двухэтажное, с пристроенной для танцев площадкой, где днем девочки "вытанцовывали" на скакалках.

Причина пожара неизвестна. В нескольких метрах находился наш дом, и все ждали, что горящая стена клуба рухнет на него. Наспех собраны необходимые вещи и вынесены на улицу. Заревو пожара отражалось в оконных стеклах и в желтых старческих глазах нашей кошки. Удивительное животное: среди множества узлов выбрало именно наш, шипя на зевак, уселось и больше никуда не отходило. С большим трудом пожар потушен, но это огненное чудовище успело слизать не только здание. Оно опалило судьбы людей, не по своей воле приехавших на Север...

...Работали в этом клубе Аркадий Яковлевич, сосланный талантливый художник, и его жена Лидия Александровна, фортепианный аккомпаниатор. Их сын учился в десятом классе. Интеллигентнейшая семья, доведенная бедностью до крайности. Деньги получали от государства мизерные, хотя в клубе торчали весь день в хлопотах, не считая общественных нагрузок. Одно удовольствие — затануться папироской до забывчивости. Стесняясь, умоляли сына:

— Вовочка, милый, походи пособирай "бычков". Ах, сил нет, как курить хочется... Ну, пожалуйста, Вовочка... Скоро ведь и получка...

— Да что вы... Мама... Папа... — одно и то же тихо, но любовно повторял Вовочка. — Стыдно мне, да и ребята из класса увидят... Опять на всю получку папирос купите.

А они знали, что сын не пойдет за "бычками", но говорили так от безысходности.

— Скоро вечер выпускной, купите дитю штиблеты, — вступалась бабка Феня.

В ее комнатенке слышался повторяющийся диалог, и она бегала стрелнуть сигарету-другую для своих постояльцев. Квартирантов пустила для веселости — навару с них мало. Мальчишку часто подкармливала перед школой. Был он высокий, худой и бледный. Волосы на прямой пробор делали его похожим на доходягу.

Бабка скучала от одиночества и теперь обрадовалась случаю, что кого-то может поучить жить и поточить лясы в скучные зимние вечера. Но квартиранты умели "давить чирый в зачатии" и все сводили к шутке, так что бабка довольствовалась несмысленными, а те умелой тактикой обходили скандалы. Баба Феня полоротой была в двух случаях: когда квартиранты рассказывали о столичной жизни и о том, что когда-нибудь они уедут в Москву. Бабка сразу закрывала вислый рот, слезилась и бежала стрелнуть сигарету "бытдо себе". Лидочкино "мерси" и поклон Аркаши были для нее высшей наградой. Штиблеты для Вовочки старуха купила на базаре по сходной цене. Денег с деток не взяла, но, перебирая от смущения фартук, прошамкала:

— А в Москву-то погостить позовете?

Знала бабка, что такие хорошие люди не могут быть виновными и их скоро отпустят домой.

— Будем рады, бабуленька! — Лидочка целует морщинистую щеку.

Глаза бабки с редкими ресницами подтягиваются к затылкам висков — прием, чтоб не плакать. Но морщины лба чувствуют: не дожить.

День получки пронырливая старуха знала точно. В доме все мыла, чистила, ждала Вовочку из школы, одевалась по-праздничному. Пирожные и шампанское будут обязательно и повод поворчать тоже. Смотреть пришлось бы ей в окно целый день от нечего делать, когда б не квартиранты. Детей накормить, проводить, встретить. Кипит суп, жарятся котлеты, стынет компот. Бубнит бабуся, жалея себя и других.

Друг Вовочки — Давид, из сосланных немцев. Мать его работает кочегаром в котельной при клубе, там и живут в каморке. А парень красавец. Черноглазый, высокий и всегда чистый.

— Куды им? Пачпартов нет... Ну, шипите, шипите... щас вас и съедят (это говорится котлетам — для Вовочки и Давида).

А для Лидочки и Аркадия к вечеру тоже будет горяченькое. В ушах звенит музыка "доченьки". Утащила Лиду-

ся старуху на свой концерт. Мало что бабке в музыке понятно, но не заметила, как задумалась, вспомнила убитых на войне братьев, мужа и младенца Митеньку, успевшего вкусить горечь жизни...

— А куда мне плыть? У того берега глыбоко, у этого мелко... — взглянула на стенку.

“Портрет” — зеркала не надо. Молодец, Аркаша. Денно и ночью смеется старуха со стены.

— Неужели это я? Душа молода, а в зеркало хоть не глядись. Выглянула в окошко:

— Нет, не идут. Хоть бы раз вовремя... И только подумала, отворилась дверь, и вихрем ворвались Аркаша с Вовочкой.

— Ну вот, скорей за стол. Стынет все, а их носит, — суетится бабка и вопросами сыплет без остановки: — А Лидуся-то где? А Давида-то пригласили?

— Да подожди, баба Феня. Пожар... Клуб горел...

И тут только заметила она, что, отвернувшись к окну, плачет Вовочка все сильнее, навзрыд. Аркаша гладит его по плечам, похлопывает, а сам окаменел вроде.

— Аркаша, ради Бога, что?

— Лидочку в больницу увезли с ожогами. Давид поехал в морг... от матери почти головешка осталась... барахло начала спасать... а тут балка... ну... бабы... а Лидуся ринулась к ней по обгорелому бревну... оно возьми и тресни... из ямы всем скопом тащили... чуть совсем не сгорела, — Аркадий сжал губы, мотнул головой, заглушая слезы. — Мы побегим, баба Феня, Лидочку поведем. Хоть и не пустят, еще раз узнаем, как там... Заодно и Давида приведем, ему ведь теперь и спать негде...

— Конечно, конечно, — старушка не замечает, что машет им поварешкой, и вообще больше ничего не замечает, трубит гортанным хрипом вперемежку со сморканием в фартук: “О-о-о-ой!”, раскачивается в разные стороны, сидя на стуле.

Аркадия и Вовочку в палату не пустили. Бегали медсестры, на вопросы не отвечали, а дежурный врач велел идти домой. К утру Лиды не стало...

После похорон Аркадий начал пить. Когда Бахус отпуская от похмелья, рисовал портреты Лиды по памяти. Однажды зимой его нашли замерзшим на могиле жены. Вовочка и Давид добились паспортов и уехали в Москву. Оттуда слали открытки, а однажды “названный внучек” прислал коробочку халвы. В той жестянке из-под халвы ба-

ба Феня хранила пуговицы, нитки и всякую швейную мелочь. При случае показывала уже истертую коробку всем, кто заходил к ней, хвалила “свою ненаглядную”.

Старуха дряхлая все больше и, когда сильно не болела, ходила навестить детей — Аркашу и Лидочку, жалуясь, зачем они ее бросили, делясь с ними своей простой, житейской философией.

Казимир ЛАБАНАУСКАС

На Таймыре работает четверть века. Хорошо знает язык, духовную и материальную культуру енисейских ненцев. Публиковался в альманахе "Полярное сияние", а также в ряде научных изданий. Живет в Дудинке.

СЕМЬ ЛЕДЯНЫХ ДЕВУШЕК

Сказка

В нганасанском фольклоре есть много мифологических сказок, отражающих традиционные представления нганасан об устройстве мира, сверхъестественных существах и контактах людей с ними. Коротко говоря, эти представления сводятся к следующему. Существуют три мира: верхний, средний и нижний. Боги НГУО обитают в верхнем и нижнем мирах. Последний населен также умершими людьми. Существует возможность перехода живых людей в мир умерших и возврат умерших к живым.

Путь живых людей в нижний мир проходит по большой, утоптанной, как лед, дороге, у какой-то реки, являющейся препятствием для перехода в тот мир. Живые люди видят чумы, рядом с которыми находятся небольшие аргииши, всего несколько нартов. Олени запряжены и все время стоят на одном месте, никуда не трогаясь. Между полозьями одной из нартов стоит воткнутый в землю хорей, так что аргииши, если бы и пошел, не мог бы сдвинуться с места.

Если пойти дальше в тундру нижнего мира, то можно найти целые стойбища, в которых очень много людей. Некоторые взрослые танцуют нганасанский танец БЕТИРСЯ, дети играют. Ни один из умерших не смотрит на появившихся живых людей из среднего мира. Умершие не видят живых людей и не разговаривают с ними. Любая попытка живого человека что-либо сказать умершему вызывает сильный треск огня в чумах.

Живые люди, появившиеся в нижнем мире, воспринимаются как боги. Их действия там уподобляются действиям демонов болезней, то есть коча, на Земле живых людей: болезнь охватывает человека, и тот заболевает; в мире умерших живой человек охватывает умершего, и последний тоже заболевает. Поэтому живые люди в нижнем мире называются богами-коча.

Возврат умерших в средний мир происходит разными путями. Умерший может появиться через ледовку, то есть через коническое сооружение из стволов деревьев над лежащим на нарте покойником. Очнувшись в среднем мире, умерший должен надеть одежду живого человека, а свою закопать под снег. Это имеет место особенно в тех случаях, когда умерший вступает в брак с живой женщиной среднего мира. Однако в случае неудачного выхода из нижнего мира, умерший может превратиться в дикого оленя, а живой шаман может заставить его вернуться обратно.

Мифологических сказок о контактах живых людей с умершими довольно много, и мы ограничимся только одной из них — сказкой "Семь ледяных девушек". Ледяные девушки — сверхъестественные существа нижнего мира. Их отец имеет два имени: Хозяин Подземного Льда и Моу-баруси, то есть

Дьявол Земли. Он похищает души, находящиеся в сердцах живых людей среднего мира.

Сказка о семи ледяных девушках приводится в вадеевском (хатанском) варианте, записанном от Момде С. Т. в пос. Новая в 1973 году. Авамский ее вариант был записан в 1948 году известным этнографом Б. О. Долгих от Турдагина Нгануо (Монтуку) в пос. Воронцово и позднее помещен в книге "Мифологические сказки и исторические предания нганасан" (Москва, 1976, стр. 95 — 98).

Мой отец рассказывал, что когда-то давно на краю леса, близ реки Хета, жил один нганасанский шаман. Он не был очень сильный шаман, но, однако, умел разговаривать с душой умершего, мог сопровождать ее в Землю мертвых.

У этого шамана были жена и двое сыновей. Оленей было всего около ста. Сыновья часто ездили охотиться на дикого оленя, а сам шаман предпочитал отсиживаться в чуме: мол, ноги болят да и глаза не те, чтобы метко стрелять из лука.

Но однажды шаман решил поехать на охоту. Никто не знал, почему он так решил: или в чуме надоело сидеть, или он что-то задумал. Шаман сказал старшему сыну:

— Однако завтра поедем в лес. Во сне я видел, что где-то поблизости ходит несколько жирных оленей. Было бы хорошо их добыть. Я хоть и не молодой уже, но попробую, может, добуду одного или двух оленей.

Настал следующий день, и шаман со старшим сыном поехали на охоту. Долго ездили по лесу, но, как назло, не было видно ни одного дикого оленя. Шаман ворчал про себя:

— Что это значит? Я же во сне четко видел диких оленей, а тут их нигде нету.

Едучи дальше по лесу, охотники увидели стоящие между деревьями две нганасанские ледовки. Это были обычные захоронения, ничем не привлекавшие к себе внимания.

Но на этот раз все обернулось по-другому. Как только шаман приблизился к ледовкам, остановил упряжку и схватил лук и стрелу, готовясь во что-то стрелять.

Увидев такое, старший сын пришел в изумление. Ему показалось, что отец хочет сделать что-то неладное. Он спросил:

— Отец, почему ты приготовился стрелять из лука? Ведь здесь нет ни одного дикого оленя!

Шаман сказал:

— Нет, сынок! Я вижу двух диких оленей. Они вот только что вышли из могил.

Сын хотел еще что-то возразить, но шаман уже выпустил две стрелы по одной из ледовок. Парню стало страшно смотреть на это святотатство. Он развернул упряжку и быстро помчался назад в стойбище, оставив отца при этом мерзком деянии. Приехав, ничего не сказал матери, а стал ждать, что же будет дальше.

Вскоре приехал шаман. Он привез обернутого в шкуру покойника. Шаман стал проталкивать покойника в чум, говоря:

— Жена, вот привез я тебе жирного оленя. Принимай, что ждешь!

Жена заметила:

— Но это же не олень, а покойник. Кажется, это наша дочь, которую мы похоронили прошлой зимой. Зачем привез? Что ты задумал?

Шаман не стал объясняться перед женой. Он сам втащил покойника в чум и поместил его за очагом. Потом сказал жене:

— Этой ночью не спи! Сиди, топи огонь! Теперь занеси мой бубен и шаманскую одежду! Всю ночь буду камлать.

Ну, жена что скажет? Если шаман велел, нужно исполнить.

Всю ночь длилось камлание. Шаман пел какие-то песни на тунгусском языке, колотил бубен. Он освободил от шкур умершую дочь и долго смотрел на нее, ожидая, что у дочери появятся какие-то признаки жизни. Потом снова брался за бубен и пел что-то незнакомое обычным людям.

Остальные жители чума не спали, а следили за камланием шамана. Чем ближе к утру, тем больше создавалось впечатление, что шаману явно не хватает сил, а его духи-помощники, видимо, не торопятся исполнить свою миссию.

Утром шаман перестал камлать. Он лежал в изнеможении, будучи не в силах даже рукой пошевелить. Через какое-то время он проговорил тихим голосом:

— Старший сын, слушай меня! Ты видишь, что я почти при смерти. Я уходил в нижний мир, но на своем пути я нашел реку, которую так и не смог перейти. Наверное, мои духи-помощники слишком слабы. Ну ты, сынок, теперь запрядай оленей и поезжай на соседнее стойбище. Там есть шаман. Правда, он еще совсем молодой, но как знать, может, его духи-помощники окажутся сильнее моих, и он сможет проникнуть в Землю умерших. Сынок, торопись!

Старший сын шамана, даже ничего не поев, запряд оленей и поехал на соседнее стойбище. Там, действительно, был шаман, совсем молодой, может, лет десяти. Когда приехавший рассказал, какая беда постигла его отца, молодой шаман сначала не соглашался. Но его старый отец сказал:

— Если просят, то, наверное, поедешь. Иначе будет грех перед богом. Поезжай!

И вот молодой шаман приехал на стойбище того шамана, который пытался оживить свою дочь. Он надел шаманскую одежду, нагрел бубен и стал камлать. Жители стойбища опять собрались в этот чум и пристально следили за тем, как молодой шаман отправляется в Землю умерших.

Молодой шаман рассказывал на простом нганасанском языке, что он видит на своем пути:

“...Я иду по скользкой ледяной дороге, вокруг голая тундра. Вот подхожу к реке. Она не очень широкая, но вода в ней течет бурным потоком. Мне кажется, что я боюсь перейти эту реку, но мои духи-помощники подбадривают меня. Я вхожу в воду и не чувствую ее: то ли она холодная, то ли теплая. Кажется, вода как будто схватила меня и желает унести куда-то. Но мои духи-помощники крепко держат меня. Я выхожу на другой берег и замечаю, что моя шаманская одежда совершенно сухая.

Я иду дальше, и уже показалось стойбище из семи чумов. Я иду до них, размышляя: “В который чум мне лучше войти? Может, мне войти в крайний чум?”

Я решил войти в тот чум, который стоит на краю стойбища. Как только я откинул полог и вошел внутрь, чувствую, что схожу с ума. Не понимаю, что со мной происходит. В это время я слышу голоса моих духов-помощников: “Не бойся! Крепись! В этом чуме находятся семь дочерей Моу-баруси. Если они захотят что-либо сделать с тобой, мы спасем тебя”.

Я стою у входа и смотрю. По обеим сторонам от очага разложены постели. На них сидят семь девушек. Лица у них бледные, глаза тусклые, как озерный лед. Огонь в костре еле-еле горит, кажется, скоро потухнет.

Уже прошло сколько-то времени, и одна из девушек, словно проснувшись, заговорила:

— Оу, в нашем чуме появился человек, ходящий по поверхности Земли. Давайте, мы его приласкаем. Мы же давно не видели хорошего мужчины.

Остальные девушки говорят:

— Однако приберем его голову и причешем.

Я сажусь рядом с одной из девушек и кладу голову на ее колени. Девушки колдуют над моей головой, а у меня такое ощущение, как будто я нахожусь в родном чуме среди своих людей. Мне становится приятно, кажется, я скоро усну...

Но опять послышались голоса моих духов-помощников:

— Ох, и зря он дал свою голову причесать. Эти ледяные девушки его век не отпустят.

Я слушаю эти голоса, а на улице пошел дождь, уже потекли струйки воды по шестам чума.

Девушки говорят:

— Ну, как назло, пошел дождь. Этого еще не хватало. Теперь наши вещи промокнули. Пойдемте на улицу и занесем вещи в чум! А двое из нас пусть караулят этого юношу.

Девушки вышли из чума, а две остались стоять у входа, вроде караулят меня. А дождь стал такой сильный, как ливень. Я вижу, что никто на меня не смотрит. Я оглядываюсь в чуме и вижу плошку, положенную за очагом. Там, оказывается, лежат человеческие сердца. Их всего семь. Шесть из них уже почерневшие, а седьмое еще чуть-чуть красноватое, наверное, еще живое. Я схватываю это сердце, кладу за пазуху и выхожу из чума.

Духи-помощники мне говорят:

— Скорей возвращайся обратно на Землю! Иначе эти девушки оставят тебя здесь навсегда.

Я быстрыми шагами удаляюсь от стойбища. Слышу голоса семи ледяных девушек:

— Если бы не было такой плохой погоды, мы бы никогда не отпустили этого молодого шамана. Теперь что подделаешь? Он уже украл живое сердце. Ну ничего, мы украдем сердца его матери и отца.

Кажется, девушки еще что-то говорят, но я уже не слышу. Духи-помощники торопят меня домой. Отправляясь назад, я замечаю, как земля словно ломается позади меня, словно образуются какие-то пропасти. Но духи-помощники крепко держат меня. Я перехожу обратно через реку. Чувствую, как то сердце, которое держу за пазухой, трепещет, как будто желает поскорее вернуться в тело умершей дочери шамана...”

Присутствующие на камлании люди заметили, как постепенно стала оживать дочь шамана. Сначала открылись глаза, потом пошевелились руки и ноги.

Отец ожившей девушки сказал молодому шаману:

— Да, действительно, твои духи оказались сильнее моих. Ты не только сумел перейти через реку мира умерших, но и достал еще живое сердце моей дочери. Теперь что я скажу? Когда она поправится, бери ее в жены без всякого калыма!

Вот теперь конец этой сказки. Молодой шаман, конечно, женился на ожившей девушке. Но, однако, его путешествие в загробный мир даром не прошло. Ледяные девушки Моу-баруси, как и грозили, украли сердца матери и отца молодого шамана, и они умерли. Получилось так, что молодой шаман, вернув к жизни девушку, потерял родителей. Однако, если бы он, подавшись чарам ледяных девушек, остался в их чуме, то как знать, может, он все равно женился бы на дочери старика-шамана, но уже не в среднем, а в нижнем мире.